



ОЛЛИ ВИНГЕТ

СЁСТРЫ
*озерных
вод*

Ведьмин сад

Олли Вингет

Сёстры озёрных вод

«АСТ»

2018

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Вингет О.

Сёстры озёрных вод / О. Вингет — «АСТ», 2018 — (Ведьмин сад)

ISBN 978-5-17-112347-5

Если ты потерялся в лесу, то кричи. Кричи что есть сил, глотай влажный дух, ступай на упавшую хвою, на гнилую листву и зови того, кто спасет тебя, кто отыщет и выведет. Забудь, что выхода нет, как нет тропы, ведущей из самой чащи леса, если он принял тебя своим. Кричи, откуда силы в тебе не иссякнут. Кричи и дальше, пока не исчезнешь. Пока не забудешь, куда шел и зачем бежал. Пока сам не станешь лесом. «Сестры озерных вод» – первая часть мистической истории рода, живущего в глухой чаще дремучего леса. Славянский фольклор затейливо сплетается с бедами семьи, не знающей ни любви, ни покоя. Кто таится в непроходимом бору? Что прячется в болотной топи? Чей сон хранят воды озера? Людское горе пробуждает к жизни тварей злобных и безжалостных, безумие идет по следам того, кто осмелится ступить на их земли. Но нет страшнее зверя, чем человек. Человек, позабывший, кто он на самом деле.

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-112347-5

© Вингет О., 2018
© АСТ, 2018

Содержание

Та, что спит	7
Олеся	7
Демьян	13
Олеся	14
Демьян	17
Олеся	20
Демьян	22
Олеся	28
Волчья яма	31
Демьян	31
Олеся	32
Демьян	38
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Олли Вингет

Сестры озёрных вод

Роман

*О чем ты шумишь ночами, мой лес,
Ты – мой господин?
С тобою нас обвенчали на долгие дни печали.
И больше ты не один.*

* * *

© Олли Вингет, 2018
© Марина Козинаки, Вера Голосова, художественное оформление, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2019



* * *

Озеро было безмолвно. Ветер лениво играл с водой, и гладь ее шла мелкой рябью, не тревожа бездны. Казалось, все кругом сковал глубокий сон. В воздухе разлилась безудержная дрема. Не было слышно ни шепота листьев, ни плеска у берегов, ни крика птицы. Тишина эта и покой, бескрайние и плотные, больше походили на смерть, чем на отдых.

Озеро спало. Спало так долго, что некому было рассказать о том, что творилось, когда оно бодрствовало. Давно уже сгнили в земле те, кто приходил к его берегам, обнажая тела и

души, чтобы славить Хозяина. Принося ему жертву, прося о благословении. Не было их, не было их сыновей, не было сыновей их сыновей. Ничего не было.

И только белые лебеди – тонкие, с длинными шеями и драгоценными бусинами глаз, – опускались на гладь, медленно склоняя головы к воде. Утолить ли жажду, поприветствовать ли того, кто спит на далеком дне, – кто разберет?

Они прилетали из-за леса. Белоснежные перья – как легкие локоны, хоть в косы заплетай, алый клюв – нежные уста молодой красавицы. Они рассекали воду грудками, ласкали ее крыльями, а после срывались в воздух без плеска и гомона, чтобы улететь прочь, за высокие деревья.

Так было всегда. Но не в этот раз.

Шесть теней появилось над границей лесных крон. И чем ближе они подлетали к озеру, тем светлее становились. В высоком небе, стремительно темнеющем, они были словно шесть отблесков лунного света. Саваном мерцали их скорбные перья.

Когда первая лебедушка прикоснулась к озерной глади, вода обняла ее, приветствуя, как возлюбленную, как молодую невесту, как желанную женщину. Ее товарки заскользили по легкой ряби, склоняясь к воде так нежно, будто целовали милого друга.

Не успел закончиться первый круг, не успело солнце спрятаться за лесом, как лебедушки замерли, вытянули длинные шеи, всматриваясь в даль. Тянулся миг, тянулся другой. А на третий в небе появилась седьмая сестра. Черная, будто смоль.

Натянутая, как струна, она спешила к озеру из последних сил, а когда опустилась на воду, белые лебедушки нежно заворковали, стремясь коснуться сестрицы.

Они заключили ее в кольцо, они кружились, они приветствовали ее, они ждали вестей. И вести эти стоили всех ожиданий.

Та, что спит

Олеся

Если лежать, сильно зажмурившись, то мир за границей век теряет реальность. Да и важность тоже. Там могут оказаться просторная комната с васильковыми обоями и кованой мебелью, мрачная палата с мягкими стенами, и просыпающийся город, и обшарпанный гостиничный номер, и поблескивающая в отсветах диско-шара барная стойка. Словом, все, что душе угодно. Эта неизвестность всегда казалась Олеся странно успокаивающей.

Она любила замирать в складках одеяла, как только будильник начинал новый день, и представлять, что за ночь ее тело чудесным образом сбежало от всех проблем. И стоит только открыть глаза, она в этом убедится. Глаз Леся не открывала, зная, что чудес в ее жизни не бывает. Когда в комнату заходила мама – чуть рассеянная, всегда опаздывающая, по капле теряющая молодость и красоту, – веки все-таки приходилось поднимать, чтобы увидеть перед собой линиялый ворс ковра, а никак не волшебную страну, о которой так отчаянно она мечтала.

Лесе вспомнилось, как страдальчески вздергивались тонкие мамины брови, как она вскидывала руки, повторяя и повторяя:

– Олеся, ты опоздаешь... Олеся! Просыпайся, ты опоздаешь, Олеся!

И как от голоса этого, мельтешения вечного к горлу подкатывало раздражение.

Воспоминание было едким, оно дрожало в голове, разливалось внутри тяжелой болью. Так темная вода плещется на дне кувшина, стоит наклонить его в сторону. Когда к раздражению прибавилась тошнота, Олеся открыла глаза. Моргнула, прогоняя мутную пелену. Вокруг был лес. Деревья переплетались ветвями, склонялись к покрытой мхом земле, шелестели листвою. Олеся моргнула еще раз, надеясь, что картинка исчезнет, как дурацкая передача от клика пульта. И медленно опустила веки.

Теперь в ней билось не раздражение, а страх. Полное, тотальное непонимание. Она медленно втянула воздух, задержала дыхание и так же медленно выдохнула. В голове промелькнул образ просторного светлого зала. Подтянутые фигуры, пестрые ткани, мягкие коврики. И голос – тягучий, обволакивающий голос, просящий вдохнуть и выдохнуть. Так неспешно, как неспешно хочется жить. Настолько медленно, чтобы умирание, от которого никому никуда не деться, перестало пугать и тело, и разум.

– Просто дышите. В этом обретается главная мудрость, – напевно тянул голос, медленно растворяясь в памяти.

Леся попыталась ухватиться за это воспоминание, но оно уже исчезло, пропало, будто его и не было. Голову словно заполнил густой кисель. Мерзкий, с комочками крахмала и химозным красителем. Леся могла вспомнить долгое мучнистое послевкусие, но где и когда ей приходилось пить эту гадость – нет. Кажется, в детском саду. Страх стал еще отчетливее.

В нос ударил влажный землистый аромат. Леся тяжело сглотнула, в пересохшем горле будто поскребли наждачной бумагой. Все тело ломило, как после высокой температуры. Кожа казалась воспаленной и тоненькой, того и гляди лопнет. Но источник боли прятался чуть выше левого виска. Именно там она пульсировала, то утихая, то накатывая и разбегаясь мутными волнами.

Леся попыталась пошевелиться, но затекшая рука, на которой она лежала, не слушалась. Где-то высоко шумели кроны деревьев. Этот звук, похожий на шепот прибоя, убаюкивал. Свежий ветерок приятно охлаждал кожу. Пахло травой и землей. В бок упиралась острая веточка. Каждое ощущение было таким подлинным, таким ярким, упоительно настоящим, что не верить в его реальность значило не верить и в свою собственную.

Но всего этого просто не могло быть.

Паника разгоралась подобно голодному огню. Олеся попыталась собрать мысли в единый комок, но они растекались густым киселем. Вспомнить, кто же заставлял ее пить розоватую жижу, когда было это и, собственно, было ли, не получалось. Чтобы не закричать, Леся до боли закусила губу. Если она и правда в лесу, заявлять о своем присутствии – плохая затея.

Олеся сделала еще один вдох и снова открыла глаза. Все те же деревья, все та же мрачная хвоя и зелень листвы. Лес равнодушно поглядывал на лежащую во мху, поскрипывая и шурша.

«Смешанный», – пронеслось в голове, и мысль отдалась тупой болью.

Олеся заставила себя приподняться. Рука двигаться не хотела. Острые иголки пронзали кожу, пробегали по ней и снова возвращались, когда Олеся наконец сумела перевернуться и вытащить из-под себя безжизненную бледную кисть.

Пальцы слушались с трудом. Шипя сквозь зубы, она заставила их пошевелиться, потом сжала в кулак и медленно разжала. Оказалось, если сосредоточиться на чем-то одном, остальное уже не так важно. Но стоило руке обрести чувствительность, как саднящая боль у виска снова дала о себе знать. Леся потянулась к голове, пальцы нащупали что-то холодное и вязкое.

В неверном свете, пробивавшемся сквозь листву, кровь казалась почти черной. Но это точно была она. Леся медленно поднесла пальцы к губам. Во рту сразу стало солоно. Воспоминания завертелись, словно клубок ускользающей из пальцев пряжи: вот она с головой окунается в синюю-синюю воду, и соль тут же начинает скрипеть на зубах, а рядом кто-то смеется. Она поморщилась, пробуя ухватиться за образ, раскрутить его дальше, понять, что за море это было, когда его волны принимали Лесю в себя и кто вытаскивал ее наружу.

Но все ускользнуло, и соленая вода снова превратилась в мерзкий кисель.

«Клубничный». – Воспоминание вспыхнуло, как молния в ночном небе.

Кисель был клубничный. Вязкий, с крахмальными комками, пить его заставляли в садике с табличкой «Василек» возле красной двери. Водила Лесю туда бабушка, единственная работающая бабушка во всей группе – деятельная, с морщинистыми руками. И так, из одних рук в другие, Олеся каждый день попадала в плен манной каши, киселя и послеобеденного сна. Садик она, конечно, ненавидела. Но молчала, чтобы не расстраивать маму. Та обещала, что будет забирать ее пораньше, но каждый раз опаздывала. И всю дорогу домой молча тащила за руку через облезлый сквер, отделяющий сад от их девятиэтажки.

Картинки обрушились на Лесю, словно лавина. И мама в желтом плаще, и кисель, едко пахнувший клубничным ароматизатором, и сквер этот с прелой листвой и скрипучим песком.

Она застонала и прижала ладонь ко лбу. На коже остались кровавые отпечатки. Голова болела отчаянно, солнечный свет, пробивавшийся через кроны деревьев, тускнел. Леся бесильно опустилась на землю. Стало холодно. По плечам побежали мурашки. Нужно было попытаться встать, оглядеться, понять, как она оказалась здесь и что теперь делать, но Леся никак не могла заставить себя пошевелиться.

Медленно погружаясь в сон, она словно опускалась глубоко под воду. Не морскую, где движение и соль придают сил, а в стоячий, уснувший омут. Все глубже и глубже. Не чувствуя, как мертвенная синева заливает губы и как твердеет в корку запекаясь на виске кровь. Ветер скользнул по влажной коже, запутался в растрепанных волосах, приподнял подол длинной рубашки, и без того слишком большой, будто снятой с чужого плеча. Но и его холодные прикосновения не отрезвили. Леся плотнее прижалась грудью ко мху, втянула сосновый запах опавшей хвои и позволила сознанию неспешно ускользнуть еще дальше.

– Пошла! – Голос, сотканный из завываний ветра, заставил ее распахнуть глаза.

Небо успело стать непроглядно черным. Олеся обступал ночной, взволнованный бурей лес. Она рывком поднялась с земли, слабые ноги задрожали, перед глазами все поплыло.

– Пошла! – Порыв ветра наклонил тонкий молодой ствол березки, ветки зашуршали совсем близко, будто желая до нее дотянуться.

Олеся рванулась в сторону, в голове затрепетало пламя боли, пока еще слабое, но готовое разойтись в настоящий пожар, способный сжечь все, к чему прикоснутся его жадные языки.

– Пошла! – Ветер неистовствовал, шумели кроны, переплетались ветвями, подгоняли окаменевшую от страха Лесю.

Дурацкая рубашка, пропитанная влажностью мха, облепила ноги. Леся наклонилась, чтобы одернуть ее, удивилась было, откуда вообще взялась у нее эта грубая ткань странного кроя, но боль полыхнула, заполняя собою все пустоты, прогоняя мысли. Порыв холодного ветра ударил Лесю в грудь, пыль, которой он щедро осыпал ее с головы до ног, запорошила глаза. Не видя ничего вокруг, Олеся подхватила подол рубашки и побежала, не разбирая дороги.

Ветер гнал ее, завывая в беспокойных кронах. Леся вытянула вперед руки, чтобы в темноте не наткнуться на дерево, и все пыталась вспомнить, с какой стороны растет на деревьях мох, словно бы направление ее испуганного, бездумного бегства могло что-то исправить.

Голова отзывалась болью на каждое движение измученного тела, но Леся не останавливалась. Ей казалось, что ветер гонит ее вперед, точно зная конечную цель. И когда он внезапно исчез, Олеся тут же остановилась сама, тяжело переводя дыхание.

Лес вокруг безмолвствовал. Деревья больше не шумели, злой ветер стих. И шепот, который Леся слышала сразу со всех сторон, пропал вместе с ним. Теперь в плотном ароматном воздухе можно было различить тихий стрекот зарослей. Над ними с уханьем пролетела птица. Леся успела разглядеть, как блеснули в темноте ее большие глаза.

«Неясыть», – услужливо подсказала память.

Высокий мужчина держит Лесю за руку. То ли он правда почти огромного роста, то ли сама Олеся, глядящая на него снизу вверх, – еще совсем маленькая.

– Смотри, – говорит мужчина, крупные зубы блестят в полутьме. – Там, за кустами! Видишь? Неясыть.

– Это сова. – Леся вспомнила, как смех щекотал ей горло, но она сдерживала его, боясь испугать крупную птицу, что тарасилась, не моргая, из колючей тьмы.

– Правильно, сова. – Он тянет руку и гладит Лесю по голове. – Сова-неясыть.

От его прикосновения, сильного, но осторожного, стало так спокойно, что темнота леса чуть отступила. Но воспоминание всколыхнулось липкой волной киселя, захлестнувшей и хмурю сову, и мужчину с крупными зубами и тяжелой ладонью.

Олеся застонала, машинально прижимая пальцы к источнику боли. Запекшаяся корка тут же лопнула, рана снова открылась, кровь заструилась по виску и дрожащим пальцам. Лесю замутило, лес качнулся перед глазами, и вот она уже осела на холодный мох, не чувствуя мигом ослабевших ног.

«Волки чуют запах крови за несколько километров». – Грузная учительница в твидовом костюме стучит по доске указкой.

Олеся вспомнила, как томительно скучно было на уроках биологии, если их вела Наталья Додоновна, – кажется, так ее звали. Как клонило в сон от ее монотонного голоса. Как Витя Петров подбрасывал девчонкам свернутые записочки, а те делали вид, что им это безразлично. Но краснели от ушей до корней волос.

Память всколыхнулась, смывая волной киселя Наталью Додоновну и острое чувство первого, совершенно безотчетного возбуждения, покрывавшего кожу мурашками, стоило бумажной записке упасть на ее, Олесину, парту.

Почему попытки вспомнить хоть что-то, кроме образов прошлых лет, вызывают тошноту и невыносимую ломоту во всем теле, Леся понимала смутно. Рана на виске пульсировала. Сил подняться не было. Леся попыталась крикнуть, но из пересохших губ вырвался только хрип.

– Если потеряешься в лесу, что нужно кричать? – В переливах света, мелькавшего между листвой, лица было не рассмотреть – только спутанную бороду и блестящие зубы.

– Ау...

Олеся тут же вспомнила и слово, и радость нахождения рядом с тем, кто ему учил.

– Ау! – вырвалось у нее за мгновение до того, как образ растворился в клубничной жиже. – Ау! Ау! – кричала она, надрывая и без того пылающее болью горло. – Ау! Помогите! Кто-нибудь! Ау!

Живая темнота ночного леса покорно впитала ее крик, зашумела, закачалась в ответ, и снова воцарилась тишина.

– Ау... – принимая поражение, прошептала Леся.

Сознание ускользало подобно воспоминаниям, которые яркими всполохами загорались в ней и тут же гасли. А без них и сама Олеся истончалась, теряла всякую вещность.

Что есть человек, если не клубок памяти? Теряя ее, он плутает в темноте гулкой комнаты совершеннейшей пустоты. Только жизнь такого не признает. Она тут же заполняется болью, липкой, как плохо сваренный кисель.

«Клубничный», – еще раз напомнил Лесе затухающий разум, а после наступила тьма.

* * *

Первым, что она почувствовала, приходя в себя, был чей-то взгляд. Легкой щекоткой он пробегал по коже – чуть ощутимо, но не давая ни мгновения продыху. Леся осторожно приоткрыла глаза.

Яркий свет ослепил ее. В широко распахнутые окна било солнце. В крохотной комнате было тепло и сухо, воздух пах нагретым деревом и какими-то травами – чуть горько, но успокаивающе.

Олеся попыталась приподняться, но притихшая боль тут же ощерилась, впиваясь в плоть. Леся потянулась к ране, мысленно содрогаясь от отвращения, но вместо спекшейся крови пальцы нащупали плотную ткань, которая надежной повязкой охватывала голову.

Кто-то нашел Олеся в лесу. Кто-то откликнулся на ее отчаянный крик. Кто-то принес ее в теплый сухой дом и сделал все, чтобы рана не воспалилась. Кто-то спас ее.

А теперь этот кто-то следил за ней, не сводя любопытных глаз.

Леся замерла, прислушиваясь. Под ногами невидимого наблюдателя скрипела деревянная половица. Он сопел и ерзал, прижимаясь всем телом к двери, а та легонько подавалась вперед, делая щелочку все шире. Одним рывком Олеся повернулась навстречу шорохам и тихо рассмеялась от облегчения.

В дверном проеме маячило круглое мальчишеское лицо. Курносый, с яркими веснушками и щербинкой между зубами, ребенок заглядывал в комнату. Но стоило его прозрачным, как утреннее небо, глазам встретиться с глазами Леси, как любопытство сменилось страхом.

– Эй, – прохрипела Олеся.

Мальчик тут же побледнел и попятился.

– Эй, поди сюда! – попросила его Леся, постаравшись улыбнуться.

Но получилось плохо. Мальчик вскрикнул, развернулся и побежал, мигом скрываясь в полутьме коридора, только мелькнула белая рубашка с вышивкой по воротнику да голые пятки застучали по деревянному полу.

Олеся со стоном опустилась на подушку. Ее слегка подташнивало, словно она только сошла с карусели. Это странное ощущение, когда твердая земля вдруг уходит из-под ног, а тело за ней не успевает, оставляя голову пустой и гулкой, а желудок – повисшим в невесомости, всегда было для нее упоительно приятным.

Ей тут же вспомнилось, как долго приходилось уговаривать бабушку, канючить и дуться, чтобы субботним утром сесть в автобус и с тремя пересадками добраться-таки до парка аттрак-

ционов. А там есть сладкую вату, облизывая липкие пальцы, и выбирать, на каких качелях прокатиться.

– Только два раза, – строго предупреждала бабушка. – А то опять плохо будет...

«Плохо» в бабушкином понимании было все, что вызывало в Лесе приступы звонкого смеха и легкую тошноту. А значит, весь этот парк был плохим. С его облаками сладкого сахара, ростовыми куклами и блестящими качелями.

Олеся точно знала, когда была на аттракционах в последний раз. Ветреный апрель, шестой класс, узкое в плечах пальтишко с розовыми лацканами. Но что за качели она выбрала тогда и почему никто больше не возил ее в парк, вспомнить не получалось. Только голова пульсировала от боли да таяли в киселе обрывки воспоминаний.

Леся сделала глубокий вдох, позволяя теплomu воздуху комнаты наполнить грудь. Это было все, на что еще оставалось способно ее обессиленное тело. Тяжелая голова медленно вжималась в подушку, как камень, брошенный в болото. Руки безвольно лежали вдоль тела на цветастом, сшитом из лоскутков одеяле, а само тело под ним и вовсе не ощущалось. Олеся не было больно, да и страшно не было тоже. Однако равнодушный покой, захлестнувший все ее существо, никак не вязался с чужим домом и невозможностью вспомнить хоть что-то путное, кроме своего имени.

Она задремала, но прикосновение холодной ладони к лицу вырвало ее из вязкого полусна. Над кроватью склонилась женщина с длинной косой. Седые пряди блестели на солнце, как серебряные нитки, попавшие в медную пряжу. Она решительными движениями ощупывала Лесин лоб, проверяя, есть ли жар.

– Кто вы?

Серые глаза сверкнули, осмотр не прервался. Прикосновения чужих пальцев отзывались мурашками. Леся попыталась вырваться, но женщина прижала ее к кровати.

– Да не трогайте вы меня!.. – Жалкий хрип из сорванного горла мучительницу не впечатлил.

Она потянулась к Лесиной повязке, потянула за край. Мгновение – и ткань упала на покрывало. Леся успела разглядеть, как расплывается по внутренним слоям повязки алое пятно. Ее замутило еще сильнее.

Женщина наклонилась к столику у окна, зачерпнула из чашки что-то, остро пахнущее травами, и щедро смазала всю левую сторону Лесиной головы. Волосы у виска покрылись толстым слоем жира. Олеся охнула, зашипела сквозь сжатые зубы и упала на подушки. Рану жгло, будто ее щедро полили спиртом.

– Твою мать! – выплюнула Леся, пытаясь стереть мазь. – Мне же больно! Что это вообще?

– Закрой свой грязный рот, – процедила женщина.

Она вытащила из кармана фартука чистую ткань и принялась перевязывать рану, не обращая внимания на попытки Леси вырваться.

– Мне нужен врач! – твердила та, силясь не сорваться на крик. – Позвоните в скорую, спасателям... Я не знаю, кому-нибудь. У меня голова разбита!

– Я вижу.

Равнодушие и сила этих натруженных рук пугали Олеся больше прочего.

– Ну так сделайте что-нибудь!

– Я делаю. Ты умирала в лесу, а мой сын нашел тебя. – Женщина проверила, держится ли повязка, и отступила на шаг, зашуршало длинное платье. – Он забрал тебя у леса. А я – у смерти. И теперь ты в двойном долгу перед родом.

На мгновение Лесе показалось, что она ослышалась.

– Вам нужны деньги? – догадалась она. – Без проблем! Только позвоните в скорую. У меня с собой нет ничего... Но я найду... – Она запнулась. – Найду родных, и они будут рады заплатить вам за все, что вы сделали для меня...

Женщина насмешливо скривила губы и сразу стала похожа на хищную птицу.

– Мы заплатим сколько вы скажете... – залепетала Леся. – Сколько вам нужно? А? Просто скажите...

Ее ухмылка стала похожа на оскал, а хищная птица – на голодного зверя.

– Как вас зовут? – Олеся из последних сил удерживала себя на грани сознания, перед глазами все расплывалось, как невысохшая акварельная картинка, попавшая под дождь.

– Аксинья, – наконец ответила женщина, ее глаза недобро блеснули. – И мне не нужны твои грязные монетки. Нашла ценность, глупая ты курица... – И зашлась глубоким грудным смехом. – Спи, девка, после поговорим.

– Нет, постойте!.. – начала было Леся, но язык ее больше не слушался.

Она хотела сказать что-то еще – начать уговаривать, угрожать, визжать и биться, только бы не вязнуть во власти тяжелого серого взгляда, – но слова ускользали. Мысли разбегались, голова становилась гулкой и пустой. Но любая пустота жаждет быть заполненной. И на место сознания, покинувшего Олеся, пришел холодный кисель. Розово-клубничный, с крахмальными комочками.

Леся тонула в нем, липкая жижа забивалась в нос и уши. Она попыталась закричать, только голоса не было. Ничего не было. Был лишь кисель. Клубничный кисель.

Демьян

В чаще токовал глухарь. Скрытый хвоей, тяжелый, с иссиня-черными перьями, он все звал и звал к себе в объятия далекую птицу, чтобы разделить с ней одиночество леса. Зов его – ритмичный, цокающий – эхом разносился среди деревьев, но оставался безответным. Май – время встреч и знакомств – давно прошел, оставив в памяти медовый запах первоцветов. Птицы разбились на пары, свили гнезда, а теперь опасливо сидели по своим обиталищам, ожидая, когда новая жизнь проклюнется через тонкую скорлупу. Некому было ответить тоскующему глухарю, кроме эха.

– Запоздал чего-то ты, парень, – буркнул Демьян, прикасаясь ладонью к шершавому стволу ближайшей сосны, и тут же забыл про незадачливую птицу.

Дерево наполнилось беспокойством. Жизнь бурлила в нем, от корней уходя к самой макушке и снова возвращаясь к корням. А через них и дальше, туда, где под толщей земли скрывалась истинная суть этих мест. Лес был встревожен, лес был опечален, лес негодовал, лес требовал объяснений.

– Ну-ну, тише вы... – Демьян осторожно провел пальцами по коре.

Кроны деревьев недовольно зашумели.

Демьян поморщился, вытер рукавом заношенной куртки вспотевший лоб и твердо произнес, обращаясь к сосне:

– Так было нужно.

Лес зашумел еще сильнее, взволнованно затрещали ветки. Где-то в отдалении с треском рухнуло старое дерево. Глухарь оборвал песню, поднялся на крыло и полетел, задевая грузным телом кусты. Ветер завыл совсем уж зло, принесся тяжелый дух непроходимой чащи. С мягким всхлипом всколыхнулась земля, потеряла твердость, обратилась в топь.

– Тише, я сказал! – Ладонь хлопнула по стволу. – Лето на дворе, не пора еще вам дары принимать. Я и без того за девчонку эту заплатил, что еще? Чего гневаетесь? Тише-тише... Это же я, лесовой ваш... Тише...

Рядом упала сухая ветка. Увесистая, острая на конце. Но ветер начал стихать. Демьян медленно отвел руку и попятился от сосны. Та мрачно высилась над ним – спокойная снаружи, гневающаяся внутри.

Стараясь не поворачиваться к ней спиной, лесовой отступил чуть дальше, снял с пояса теплую тушку зайца и осторожно положил к корням. Замер, сам не зная, то ли кивнуть на прощание, то ли поклониться, и скользнул в сторону, скрылся в чаще.

Мертвый заяц остался лежать во влажном мху, слепо глядя перед собой остекленевшими глазками-бусинками. Его пушистое тельце медленно погружалось в болотную гниль. Дар был принят. Шаткое равновесие восстановилось. На этот раз.

Олеся

Когда сознание, прорвавшись через кисель, все-таки вернулось, Леся попыталась встать, но потолок закружился перед глазами, так и норовя рухнуть, погresti ее под собой. Накатила тошнота. Олеся прижала ладонь ко рту, но успела только свеситься с края кровати, и ее вывернуло на пол.

За дверью слышались легкие шаги. Но вместо недавней мучительницы с медными волосами в комнату проскользнула молоденькая девушка в свободном платье. На секунду Олеся встретила с ней глазами – серые, глубокие, точь-в-точь такие же, как у хищной птицы, назвавшейся Аксиной. Только девушке они предавали робкий, почти испуганный вид.

– Меня тут... – сипло начала Леся, но сбилась. – Извини...

Девушка ничего не ответила, только шагнула к кровати, присела на корточки и принялась вытирать лужу. Ровный пробор ее длинных русых волос теперь маячил перед носом Леси.

– Мне очень неудобно, правда... – пробормотала она, чувствуя, как краснеет.

– Ты хвораешь, так бывает. Не думай, – чуть слышно ответила девушка и еще ниже склонилась над полом.

И тут же перед глазами встала совсем другая картина. Высокие потолки больничной палаты, тошнота и стыд, пробегающий по спине ознобом. Олеся рвет в пластмассовый тазик, а бабушка гладит ее по волосам. Коротким, стриженным кое-как. Бабушкина ладонь дрожит, и от этого дрожит и сама Олеся. Бабушкин страх множится в ней, оглушая.

Желчная горечь наполняет рот. Бабушка, куда более старенькая и осунувшаяся, чем в предыдущих воспоминаниях, тянется к стакану с водой – он стоит на окрашенном в зеленое шкафчике. Леся дергается от новой судороги, толкает бабушкин локоть. Стакан падает на пол и разбивается. Пол блестит от осколков и воды, Леся видит, как бегают по ним солнечные зайчики. Тянется пальцами – тонкими, длинными, худыми. Бабушка что-то говорит ей, но поздно. Осколок уже впился в кожу, по бледной коже струится кровь. Леся не может отвести от нее глаз, пока бабушка не промокает ранку салфеткой.

Олеся снова рвет в тазик, но красота алого на белом остается в памяти.

«Вот так же будет, когда я все закончу», – рассеянно думает она, и мысль эта остается с ней, когда все остальное заполняет кисель беспомыслия.

Девушка тем временем уже вытерла лужицу и проворно поднялась, отступая от кровати.

– Пить хочешь? – спросила она, стараясь не встречаться с Лесей взглядом.

– Да, спасибо.

Шершавая чашка была приятной на ощупь. Леся сжала ее в пальцах, таких же длинных и бледных, как в странном воспоминании. Она точно помнила палату, и деревья за окнами, и тазик, и тошноту. Но где находилась больница, а главное, почему сама она находилась в ней, ускользало. Истончалось. Ни схватить, ни рассмотреть, ни понять.

– Ты пей. – Девушка продолжала стоять в паре робких шагов от кровати. – Матушка сказала, тебе пить нужно больше. Чтобы с водичкой и жизнь вернулась.

– Матушка? – переспросила Леся, делая первый глоток. Вода оказалась холодной и очень вкусной. С легким, чуть заметным привкусом незнакомых трав.

– Матушка Аксины.

– Так она... – Олеся вспомнила тяжелый взгляд серых глаз, цепкие прикосновения рук, властных и сильных. – Она твоя мама?

– Нет, – чуть заметно улыбнулась девушка. – Она мне теткой приходится. – И замолчала, словно побоялась сболтнуть лишнее.

– Почему же тогда матушка? – Леся допила воду и опустилась на подушки. Ей стало совсем сонно.

Девушка сделала два легких шага и подхватила чашку из слабых Олесиных пальцев.

– Она всей земле этой мама... – Шепот потонул в убаюкивающей волне, которая набежала на Леся мягким течением. – И мне, и Степушке, и Демьяну, и Лежке, и Фекле... Всем она мама. И тебе теперь тоже. Поспи еще.

– Да что со мной?.. – в который раз попыталась спросить Олеся, только язык ее не слушался.

– Хворая ты, – донесся до нее голос. – Спи, сон на второй седмице самый сладкий... Спи, сестрица, спи...

И Леся уснула. А когда проснулась в следующий раз, то дурнота исчезла. И голова перестала гудеть, и сила вдруг наполнила ее, хоть вскакивай с постели да беги. Бегать Леся не стала, но с кровати осторожно поднялась. Попробовала силы, покачнулась на носках. Тело стало гибким и свободным. Только плотная повязка слегка стесняла ощущение полной и всеобъемлющей легкости.

Олеся тихонечко засмеялась и рванула на себя край ткани. Та легко скользнула на пол. Леся пригладила волосы – никогда еще она не ощущала их такими пышными. Взмахнула головой, и локоны – русые, чуть отдающие медью, – свободно рассыпались по плечам.

Где-то далеко, в отголосках памяти, вспыхнуло непонимание. Как же так? Русой она не была лет с тринадцати, когда первый раз покрасилась. Кажется, в темный. Или нет. В рыжий. Или это было потом? Или не было вообще? А что тогда было?..

Радость, было наполнившая ее беззаботным ликованием, тут же потускнела. Леся присела на краешек кровати, опустив руки на подол длинной рубашки. Небеленая ткань, жесткая, но приятная телу, легко мялась. Олеся попыталась вспомнить, почему выбрала именно ее. Но тут же поняла, что не помнит, как одевалась раньше.

И вообще ничего не помнит. Стоило только попытаться отряхнуть воспоминания от пыли, как голова снова тяжелела, наполняясь болью. Пальцы не могли нащупать рану, но Леся точно знала: она была. И кровь была, и страх, и бег по шумящему лесу, подгоняющему вперед.

Только осколки, на которые так легко крошилась память, не получалось собрать воедино. А тишина, окутывавшая дом, сбивала с толку. Олеся поднялась и осторожно подошла к двери. Снаружи было темно и пусто.

Она шагнула через порог и, хватаясь вспотевшей ладонью за стену, прошла по коридорчику. Нога тут же задела пустую кадку. Та шумно завалилась набок. Леся замерла, ожидая услышать тяжелые шаги, но в доме, кажется, никого не было.

Ни испуганной девушки, ни ее суровой матушки.

Коридор быстро закончился двумя дверями. Одна – тяжелая, обитая звериной шкурой, – оказалась запертой. Вторая легко распахнулась. Леся зажмурилась от хлынувшего на нее солнечного света.

За порогом начиналась крытая терраска, деревянная, как все кругом. Дом стоял на широкой поляне, а ее со всех сторон обнимал лапами лес. Даже стоя в дверях, Леся могла разглядеть, как он вырастает, словно стена, густой и высокий. Будто кем-то прочерчена граница, разделяющая место человека и владения лесных жителей. В мрачном облике леса скрывалось что-то настолько жуткое, что Леся попятилась в темноту коридора.

Она вернулась в комнату и принялась мерить ее шагами, а та давила деревянными стенами, незнакомыми запахами и солнцем, бьющим в распахнутые окна. Никто не держал Леся взаперти. Дверь свободно скрипела на легком сквозняке, открывая да беги. Только куда бежать?

Кругом лес. Один только непроходимый лес.

Из открытого окошка слышались голоса, и Леся испуганно осела на кровать. Она успела забраться под одеяло и закрыть глаза, прежде чем говорившие приблизились к дому.

– Я же говорила, спит еще озеро... Нет ему дела до наших бед. – Голос был женским, но Аксины не принадлежал.

– Рано пока нам сдаваться, понятно, Глаша? – А вот это уже была она, эти стальные нотки Леся ни с чем бы не перепутала. – Девку только привели. Еще не очухалась, а ты уже все решила... Поглядим.

– А она сама-то какая? – Названная Глашей кашлянула, но любопытства это не скрыло.

– Хвора. – Аксины тяжело вздохнула. – Хворых нам лес и посылает. Где ж других найти? Хорошо хоть эту Демочка привел...

– Пообвыкся уже?

– А куда ему деваться? Род позвал – он пришел. Я знала, что так будет. Сколько ни гуляй, если кровь в тебе кипит, то она сильнее...

– Уж в нем-то кровь всегда кипела! – Глаша визгливо засмеялась.

– Ты, сестрица, язык бы свой прикусила. – Сталь в голосе Аксины стала ледяной. – Вспомни, кто он теперь, Демьян-то наш, и прикуси.

Женщины помолчали и разошлись. Шаги одной быстро стихли во дворе, вторая же прошла по терраске вдоль коридора и заглянула в комнату. Окаменевшая от ужаса Олеся осталась лежать без движения. Аксины еще немного постояла над ней, прислушиваясь к дыханию, развернулась и вышла, заперев за собой дверь.

Демьян

Стремительно темнело. Идти по тропинке между двух болот было сложнее всего. Демьян то ускорял шаг, то проваливался почти по колено в гниль, подобравшуюся к самому краю людской тропы.

– Да чтоб тебя! – ругался он сквозь зубы.

Поминать лихо в вечернем лесу было глупой затеей. Особенно когда лес этот еще не решил, простить ли зарвавшегося человека или уронить ему на голову вековой ствол ближайшей осины. Демьян размял напряженную шею, потуже завязал пояс и ускорил шаг. Если он сегодня и поспит, то на старой прогалине, до которой еще идти и идти.

И пока ветви, разросшиеся по бокам тропинки, больно стегали его, норовя попасть прямо в глаза, он старался думать о чем-то другом. О чем-то, не связанном со злым непроходимым лесом, в который ему так не хотелось, но пришлось вернуться.

Например, о шести годах жизни вдали отсюда. В мире, где все виделось простым и логичным. В мире, где все, что требовалось, – учиться и быть как все. Учиться, чтобы жить в маленьком закутке студенческой общаги. Не выделяться, чтобы остальные не почуяли чужака.

В этом мир леса и мир обычный оказались похожи. Мало что можно придумать страшнее, чем выдать себя человеком в стае волков. Если у тебя вышло обмануть всех по первости, то будь добр – держи марку и дальше. Бегай на четырех лапах, носи шкуру и вгрызайся в теплое брюхо ошалевшего от страха и боли оленя. Иначе в следующий раз сожрут тебя.

Демьяну, прожившему как-то целую осень среди серых спин и собачьего скулежа, это правило было знакомо. Потому, оказавшись в городе, он тут же натянул на себя личину человека мрачного, не слишком злого, но в обиду себя не дающего. И ведь вышло же!

Вначале его сторонились, после попробовали на зуб. А когда зубы эти разлетелись веером от одного его не слишком уж сильного удара, поджали хвосты и долго скулили, катаясь на брюхе. Вожачество над ними Демьяну было ни к чему. Слишком многое стояло на кону, чтобы глупо красоваться в полной своей звериной мощи.

Но своего он брал ровно столько, сколько считал нужным. Приличные оценки на зачетах, быт в чистой, пусть и тесной комнатухе, и будущее, до которого – только руку протяни. Ему оставалась-то половина курса, и он умчался бы прочь с этой земли так далеко, как вышло бы. Защитить диплом, сдать пару экзаменов да разбежаться с незатейливой, приятной Катей, которую пригрел под боком, чтобы коротать бессонные, безлесные свои ночи. И все.

Даже себе он не признавался, как тяжело порой было ему в каменном мешке. Как хотелось выбраться на волю. Вдохнуть прелый запах листвы, прикоснуться рукой к стволу, услышать ток жизни. Почувствовать себя лесом.

Но другая сторона этой жизни с ее скользким берегом, стоячей водой и тиной, с ее законами и спящей силой, пугала куда сильнее. Как и сама необходимость становиться частью всего этого. Главной частью. Незыблемой и вечной.

– Коли сбежал, так и не дергайся, – ругал Демьян сам себя, стискивая кулаки. – Как хорек позорный мечешься. Выбрал, так сиди.

Шесть месяцев оставалось ему до точки невозврата. Он даже календарик завел тайком, зачеркивал в нем дни, считал пустые клеточки. Молился бы, да тот, в кого Демьян верил, был слишком далеко. И, наверное, до сих пор гневался на беглеца. А может, и забыл его. Кто знает?

Все закончилось в мае. Отгремели праздники. Пьяные, шальные, пахнущие мертвой хвоей и волосами Катерины, ее кожей, ее дыханием и смехом. Хорошо им было тогда. Демьян почти забыл, чем все должно завершиться, пригрелся в ее объятиях, как пес, взятый с цепи в дом.

– Ты же меня бросишь, как закончится учеба, да? – спросила Катя в последнюю ночь, опадая на подушки, бессильная и горячая.

Смоляные волосы липли к влажной груди. Еще мгновение назад Демьян впивался в эту сладость губами, рычал, переходя с человеческого на звериный. А теперь они затихли в холодной комнате. И только потолок мерцал над ними, казенный и равнодушный.

– Дема, скажи, мы расстанемся? – Голос предательски дрогнул.

Демьян не ответил. Не стесняясь наготы, встал, открыл форточку, напустил в комнату мороза. Вдохнул, привычно различая в городских запахах далекие отголоски леса.

– Мне просто знать нужно, я не стану тебя уговаривать. – Катя приподнялась на локте.

В свете фонаря, бьющего через стекло, она была по-настоящему красивой. Демьян никогда особенно не задумывался, какая она – женственная, мягкая, волосы длинные, густые, и смотрит так с поволокой, что низ живота наливается горячей тяжестью, стоит только поймать ее взгляд.

А тут понял: красивая. Страстная, влюбленная, несчастная. И красивая.

Подожел к ней, встал на колени у кровати, прошелся пальцами по скулам, по щекам, стер две влажные полоски слез, опустил ладони ей на плечи. Посмотрел на нее. Катя смотрела в ответ строго, но просяще. Не отвела взгляд. Только губу закусил.

Он ей тогда ничего не ответил. Поцеловал раз, другой, опустил на подушку, придавил своим весом и долго любил. Так, как умел. Телом своим человеческим, коль душа звериная любить не умеет.

А наутро пришла телеграмма. И кто в наше время шлет телеграммы? Только нет в их долбаном царстве-государстве телефона, как у нормальных людей...

*батюшка умер тчк срочно возвращайся тчк аксинья тчк твоя матушка
тчк*

Демьян не удивился тогда, будто знал, что так будет. Сразу пошел в деканат, показал бумажку с ничего не меняющим для них сообщением. Там поохали, пообещали академический отпуск. Откуда знать им было, что значат эти новости? Что мир их рухнул для Демьяна? Поманил-поманил – и исчез.

Пока собирал вещи, аккуратно и методично, представлял, как одетая в черный лен Аксинья идет через лес в город. Как расступаются перед ней звери, как замолкают птицы, как болото с чавканьем отползает прочь от ее ног. А она даже не замечает их раболепия. Шагает ровно, широко, без усталости, смотрит только перед собой. И ни один мускул, ни одна морщинка не дрогнет.

– Вдовствующая, мать твою, королева... – процедил сквозь зубы Демьян.

Постоял немножко, пытаясь успокоить зверя, рвущегося наружу. Но не смог. Зарычал, швырнул в стену кубок по многоборью, который в шутку выиграл на первом курсе.

– Сука! – кричал он и метался по комнате, чуя, что попал в волчью яму. – Пададь! Тварь! Тварь!

У Катерины давно был свой ключ. Она приходила к нему между парами. Приносила горячего, убиралась потихонечку. Словом, делала все, что принято в мире человеческом, если ты спишь с кем-то четвертый год подряд. Демьян заметил ее, прижавшуюся к стене, с огромными, черными от страха глазами, только когда голос пропал окончательно.

– Демочка... – начала она, протягивая дрожащую руку.

Притронуться к себе он, конечно, не позволил. Рванул в сторону, застыл у окна, тяжело перевел дух.

– Что с тобой? – спросила Катя, немного помолчав. – Случилось чего?..

– Я уезжаю, – сипло ответил Демьян, удивляясь, что вообще может говорить.

Катерина дернулась, как от удара. Поджала губы.

– Это... из-за того, что я вчера... спросила?

Вчерашняя ночь казалась теперь чем-то очень далеким.

Демьян не сразу понял, о чем говорит Катя.

– Нет. – Махнул коротко стриженной головой, подумал, что волосы теперь придется отращивать. – Нет, что ты? Нет.

– А что тогда? – Катя сделала робкий шаг к нему, но остановилась, словно заметила, как зверино горят глаза. – Тебя отчислили?

Мотнул головой еще раз. Досадливо подумал, что разговор этот только тратит время, и протянул Кате бумажку, смятую в кармане.

Катерина схватила ее, быстро прочитала, болезненно вздохнула и подняла на Демьяна глаза, полные слез.

– О господи, Демочка, твой папа?.. Мне так жалко... Дема!

Папа. Так и сказала: папа. От слова этого, от мысли, что Батюшку вообще можно так назвать, Демьяну стало нестерпимо смешно. Он то ли всхлипнул, то ли подавился смешком. Но это его отрезвило. Сделал шаг к Кате, она чуть заметно дернулась, снова опустил ладони на ее плечи, втянул чутким, звериным носом ее дух – горячий, женский, сладкий – и покачал головой.

– Это неважно, Кать. Я все равно бы уехал.

Та отшатнулась, но он ее удержал.

– Ты правильно вчера спросила. И поняла все правильно. Спасибо тебе, правда, все же хорошо было... а теперь я... Поеду. Ладно?

Большие темные глаза пошли рябью слез. И это так отчетливо напомнило Демьяну воды спящего озера, что жалость, поднимавшаяся было в нем, тут же утихла.

– Вот, значит, как, да? – спросила Катя, запинаясь. – Так, да?

– Да, вот так.

– Не зря мне девочки говорили... Что не надо с тобой. Что зверь ты, Дема. И нет в тебе души.

И вот тут он уже не сдержался. Захохотал. И смеялся, пока цокот Катиных каблучков за дверью совсем не стих. Теперь этот злой, неуместный хохот иногда еще звучал в Демьяне странным отголоском памяти.

Кажется, люди называют это совестью. Наверное, ее угрызениями это и было. Славная девушка Катя всегда была к нему добра. И не заслужила она такого прощания. А он, дурак, медведь бесчувственный, рассмеялся ей в лицо. Но как было ей объяснить, что глупые сороки-подружки первый раз в жизни оказались правы?

Зверь он. И нет в нем души.

Олеся

Леся спала и не могла проснуться. Странное состояние, описать которое не хватило бы слов. Она словно оказалась в другом измерении, где воздух, плотный, как стоячая вода, позволял парить над землей – легко и свободно, не прикладывая к тому усилий.

Так Леся и плыла над бескрайним лесом. Он раскинулся внизу подобно огромному существу, что грело спину под теплыми лучами вечернего солнца. Солнце не двигалось, не меняло расположения на небе – всегда стояло чуть выше горизонта, не скрываясь за ним, а лишь легонько трогая его красноватым боком. И эта неизменность доказывала Лесе, что все происходящее с ней – сон. Станный, долгий, а может, и бесконечный.

Может быть, она умерла? И этот лес, и этот воздух, держащий ее на лету, – последнее усилие затухающего сознания?

– Ну и пусть, – шептала Олеся, не слыша собственного голоса.

Вопросы перестали существовать. Сон ли это, смерть, чистилище, странный эффект забористой смеси? Да какая разница?

Главное, что лес под ней мерно шумел листвой. Такой разный, такой живой. Леся не могла отвести глаз от игры закатного света на его кронах. Они вспыхивали всеми оттенками зелени, как беспокойная, живая вода. Темная хвоя мешалась с молодой листвой, деревья-великаны высились над свежей порослью. Прогалины и круглые, как пятак, поляны. Вот на одну из них выскочил заяц, прижал длинные уши, припал к земле. Бока его тяжело вздымались. Леся чувствовала, как дрожит это маленькое худое тельце. Когда на поляну осторожно и медленно вышла оранжевая лисица, заяц понял, что обречен. Он взбрыкнул сильными лапами, комья земли полетели в стороны, но поздно. Одним грациозным прыжком лиса оказалась рядом и впилась в мягкую шею. Мгновение борьбы, и заячье тельце обвисло в ее зубах.

Леся смотрела, как капает на траву кровь, как лисица подхватывает мертвую тушку поудобнее и скрывается в зарослях, и не чувствовала жалости. Затеиливые жизни леса не нуждались ни в чьем одобрении. Они просто были. И делали это хорошо. Лучше, чем Леся – что-либо в своей жизни.

Она так и не сумела восстановить непрерывную линию, которая бы нарисовала ее портрет. Но стойкое ощущение собственной незначимости, провальности всех начинаний, оставляла на языке явственный привкус железа.

Олеся не помнила, к чему стремилась, но точно знала, что стремление это осталось без результата. А значит, нет особой важности в памяти, ускользнувшей от нее. И жалеть об этом не стоит. И думать не стоит. Особенно когда под тобой плывет бесконечный лес, а воздух, податливый и плотный, нежно обнимает тебя, как давно уже никто не обнимал.

– Все спит? – прорвался через завесу сна чей-то дребезжащий голос.

Леся почувствовала, как натянулось полотно неба, как зазвенели нити, удерживающие тело на лету.

– Все спит и спит, сколько ж можно? – Голос негодовал.

Чья-то рука схватила Олеся и принялась трясти. Лес всколыхнулся, зашумел в ответ. Секунда – и Олеся поняла, что падает. Она бы закричала, но подавилась воздухом, потерявшим былую плотность и теплоту. Ее снова оставили без поддержки. Снова оставили одну. Она вновь доверилась кому-то, чтобы упасть и долго потом лелеять сколы. Так уже было. Леся летела вниз и не хотела вспоминать. А вот разбиться и закончить все это – да. Этого она определенно желала.

За мгновение до того, как первые макушки высоких сосен впились бы в нее, безмолвно падающую, чья-то рука тряхнула ее особенно сильно. И все закончилось.

Она наконец смогла закричать. Крик вырвался из горла – сухого, будто обожженного, – и прозвучал жалобным хрипом. Олеся рывком села на кровати, озираясь.

Леса не было. Была все та же маленькая комнатка с деревянными стенами. И окно, за которым занимался рассвет. Через приоткрытые ставни в комнату лился упоительно сладкий, холодный дух просыпающейся земли.

В темноте сложно было различить того, кто стоял рядом с кроватью. Но цепкая старческая рука была смутно знакомой. А голос и того больше.

– Проснулась наконец? – спросила старуха, отпуская Лесино плечо. – Сильна ты спать!

«Глаша!» – поняла Олеся и тут же все вспомнила.

Как лежала на этой кровати, делая вид, что спит. Как напряженно прислушивалась к злему шепоту за окном. Как Аксинья назвала старуху с противным дребезжащим голосом сестрой, а после и по имени. И что говорили они странные слова, и что слова эти были про нее, про Олеся.

– То вопит, то каменеет... Припадочная, что ли? – спросила Глаша и присела на край кровати.

Леся ожидала почуять от нее тяжелый запах старого тела и мысленно сжалась, чтобы не выдать отвращения. Но старуха пахла сухими травами и чем-то, похожим на дух сырой земли. Она была старше Аксиньи. Чуть сгорбленная, с седыми космами, собранными в растрепанный пучок. Во тьме блестели ее глаза – два темных колодца. Но Олеся точно знала: при свете дня они серые, словно озерная вода.

– Гляди-ка, пробудилась, гостя наша! – Вскинула руки, с издевкой покачала головой. – Что снилось сладкого?

Леся хотела промолчать. Она и не думала рассказывать злобной старухе о плотном воздухе, о лесе, который раскинулся под ней, как добрый пес, не страшась оголить брюхо. Показать свое величие и жестокость. Заячью кровь, капающую на зеленую траву поляны.

– Я видела лес. – Губы сами растянулись в блаженной улыбке. – Большой и сильный. Он лежал подо мной, а я летела над ним. Это был хороший сон.

И пока онемевший, будто чужой рот выговаривал слова, Леся отстраненно наблюдала за старухой. Как та отпрянула, как скрипнула под ее весом кровать, как судорожно сжалась старческая ладонь, сминая покрывало. И как глаза сверкнули во тьме комнаты, будто отражение луны в спящем озере.

– Хороший, говоришь? – проскрипела Глаша. – Ну, хороший, так еще посмотри...

И потянулась к Лесе.

– Нет! – дернулась та, не разбирая от страха и темноты, где стена, а где край постели. – Не смейте! Не трогайте!

Но старуха уже прижала к ее лбу горячую шершавую ладонь и принялась шептать:

– Спи, девка! Хороший сон грех не досмотреть.

Демьян

Сколько времени нужно, чтобы весть облетела лес от одного конца до другого? Сколько птиц успели пропеть песню о его возвращении? Сколько раз листва прошептала на ветру его имя? Узнал ли шатун-медведь? А старый лось – одинокий, седой, с отломанным правым рогом, – он-то знает уже? Или волчья стая, обиженная на него, оскорбленная внезапным бегством, худшим предательством на их волчий лад? Успели ли они провить о нем песню новой луне?

Демьян отгонял мысли, как назойливую мошкарку. Они отвлекали его от главного, они мешали сосредоточиться. До озера и так было идти два полных дня и еще половинку ночи, а если не смотреть по сторонам да под ноги, то и вовсе можно не дойти. Наступить в болотную лужу, одну из тех, которые все чаще встречались в местах, что годами оставались сухими и твердыми, такими, как должно лесу.

– Гнилая ты кровь! – шипел Демьян, перепрыгивая очередной болотный овражек, скользя по его краю. – И род твой гнилой!

Болото равнодушно смотрело на него в ответ. Было ли дело ему до проклятий какого-то человечешки?

«Я – Хозяин твой! – захотелось крикнуть Демьяну. – И земли, которую ты пожираешь, и леса, что гниет из-за тебя! Я – Хозяин всего, что только можно увидеть здесь, потрогать и почувствовать. Все, что рождается здесь и подыхает, все это мое. Я – Батюшка. Новый Батюшка!»

Но слова вязли на языке. Произнеси их хоть раз, и не будет пути обратно.

– Да пошло все... – только и буркнул Дема, отворачиваясь от болота.

Гниль появилась за год до смерти Батюшки. Теперь-то Демьян знал, как долго и мучительно тот угасал. Как тряслись его руки, как подкашивались ноги. Как по крупнице терял он память и рассудок. Как себя терял он, проигрывая в битве со старостью и болезнью.

– Вы хоть врачу его показали? – мрачно спросил Дема, сидя за общим столом.

Аксинья тогда подняла на него тяжелый взгляд. Она сама изменилась до неузнаваемости. Похудела так, что ввалившиеся щеки облепили кости скул, – хоть бумагу режь. Руки-ветви безвольно лежали перед ней, будто она не имела над ними власти. Платье висело на высушенном теле мешком. Только взгляд оставался почти таким же, как раньше. Злую хищную птицу ни с чем не перепутать.

– Глупость не трепи, – выплюнула она, как тухлую кость, мало что губы не вытерла от отвращения. – Если я ему не помогла, то врачешка какой-нибудь из города помог бы?

Демьян попытался выдержать ее взгляд, но не смог. Опустил глаза, вцепился в катышек на скатерти. Помолчал.

– Батюшку нашего озеро выпило, – пробормотала Глаша, жамкая тонкими губами. – А лес не сберег...

– Молчи! – Окрик зазвенел в стеклах окон, Аксинья с силой отодвинула стул, встала. – Чтоб не слышала я больше этого! Время его пришло... Время пришло – он ушел. Закон жизни.

И выскочила из комнаты, прямая и цельная, ни единой трещинки.

– Алыцгеймер у него был! – бросил ей в спину Демьян, но она не повернулась. – Старческое слабоумие, мать вашу... – Он опустил голову на сложенные ладони и закрыл глаза.

Быть хотелось отчаянно. Запах дома, лесной и теплый, бил в нос, рождая такую тоску, что зверь в Демьяне метался, как угодивший в капкан. Того и гляди бросится на прутья и рассечет о них грудь. Лишь бы выбраться наружу.

Дема и сам не мог понять, куда его так тянет. То ли обратно в город, к ставшим ненужными лекциям и диплому, или напротив – в лес. Ухающий, скулящий, шепчущийся во тьме живым доказательством их с Демьяном родства.

– Демочка... – Слабый голос, такой созвучный с другим, с Катиным, заставил его вздрогнуть.

Он медленно поднял голову и увидел перед собой Феклу. Сестрицу свою любимую. Спасенную великим чудом. Бледная в синеву, с лихорадочным блеском в глазах, она кусала рыжую косу и тянула к Демьяну тонкие пальчики.

– Де-ема-а-а... – позвала она еще раз и пошатнулась.

Они встретились взглядами. И целый миг Демьяну казалось, что сестра пришла в себя. Что она видит его, что понимает, кто он, а зло, терзающее ее тело и дух, отступило. Сдалось. Но миг прошел, ниточка, протянувшаяся было между ними, лопнула, и Фекла отвела глаза. Теперь она смотрела куда-то в сторону, через плечо брата, в темноту угла.

Демьян оглянулся, зная, что не увидит ничего особенного. Но Фекла затряслась, выронила из зубов кисточку косы, сделала робкий шаг назад и начала плакать. Первой к ней подскочила Стешка, схватила сестру за руку, притянула к себе, запричитала, раскачиваясь:

– Ну-ну, милая, ну... Тш-ш-ш... Дурное в окошко, сладкое в лукошко, да? Дитяtko мое... Тш-ш-ш...

Фекла забилась в ее руках, но почти сразу обмякла, силы вытекли из нее, оставив полую. Совершенно пустой. Когда к застывшим сестрам приковыляла тетка Глаша, Демьян отвернулся. Невыносимо было смотреть на то, как потерянно озирается Фекла, а ниточка слюны тянется от полных губ к мягкому подбородку, пока Стеша не вытрет ее уверенным взмахом платка.

Так и сидел в молчании за столом, пока женщины не вышли из комнаты. Только тогда Демьян позволил себе пошевелиться, кинуть взгляд на брата. За шесть лет, что он не видел Лежку, из тихого мальчугана тот вырос в тонкого, будто тростинка, юношу с длинными темнорусыми волосами. Но глаза остались те же, точь-в-точь такие же, прозрачные, чуть серые, смотрящие на мир откуда-то издали. С другой стороны. Тревожные это были глаза.

– Ты как вообще? – спросил Демьян, чувствуя, каким деревянным делает его глупая неловкость.

– Ничего, держусь, – еле слышно ответил Олег, помолчал и добавил: – Папу только... жалко.

Он единственный называл Батюшку так. Не отцом даже – папой. Прямо как Катерина, прочитавшая телеграмму. Демьян подавил смешок.

– Такая жизнь, что теперь... Прорвемся. – Слова поддержки давались нелегко, он никогда не умел сочувствовать общему горю.

Лежка кивнул, только волосы закачались.

– Я спрошу?

– Спрашивай. – Ничего хорошего Дема не ожидал.

– Ты теперь будешь Хозяином?

Лежка всегда умел задавать вопросы в лоб. Все в его мире было легко и просто. Там можно было произнести, вместишь в слова и просто выговорить, как ни в чем не бывало, любую боль. Демьян открыл рот, чтобы что-то сказать, но не сумел найти ответа.

– Прости, – поспешно проговорил Лежка. – Не время сейчас... Папа ведь... Папа...

Папа лежал сейчас на абсолютно круглой, будто циркулем очерченной поляне. Место силы. Место суда и просьб. Место вопросов, а иногда и ответов. Лобное место. Туда несли новорожденных и родившихся мертвыми. Туда Демьян на своих руках отнес Поляшу... Полечку... Пелагею. Воя и рыча, как зверь, плача, как ребенок. Но об этом нельзя вспоминать.

Туда отнесли и Батюшку. Чтобы лес принял его, простил и забрал, отдав все почести, причитающиеся Хозяину.

– Чтоб тебя волки драли семь дней и семь ночей, – прошептал Демьян, но тут же понял, что злобы больше нет.

Простит ли лес потерявшего силу, разум и жизнь Хозяина, это еще вопрос. Но сам Демьян его простил. Хотя, казалось, никогда такому не случиться.

– Шел бы ты спать, – пробурчал он, вставая на затекшие от долгого сидения ноги.

Олег тут же вскочил, подбираясь. Точно так они вскакивали, когда из-за стола поднимался Батюшка. Демьяна передернуло. Но он промолчал.

Правила леса Олег впитал с молоком матери. Двадцать лет прожил он под опекой сумасшедших теток и Батюшки. А теперь его мир покачнулся. Есть ли право рушить слабую башенку надежд, которые мальчик возлагал на него – нового Хозяина? Как объяснить брату, что Демьян лучше бы голым сел в улей, чем занял место отца во главе стола? Да и стоит ли? Если все и так предрешено.

Не чувствуя его смятения, Лежка шагнул вперед и наклонил голову.

– Благослови на сон.

И Демьян не смог отказать. Движением, изученным до ломоты в зубах, он положил ладонь на голову брата, замер, но губы сами проговорили нужные слова:

– Спи, дитя, лес укроет.

Олег шмыгнул носом, не поднимая лица, вытер его рукавом, кивнул и вышел из комнаты. А Демьян остался. Из этого капкана ему было не выбраться.

А теперь он шел через лес, бушующий недовольством, скрывающий свой страх перед гнилью, и сам боялся. Зверя, что затих внутри. Зверя, что рыщет кругом. А главное, зверя спящего – озера, бескрайнего и глубокого, дремлющего, а может, и мертвого, кто его разберет.

Когда-то очень давно Батюшка сумел растолкать его, сумел показать свою силу, сумел объяснить, что не озерный он Хозяин – лесной, и не будет беды, если озеро поспит еще немного. Может, лет сто или двести. Что ему эти лета? Что ему эти зимы? Спи себе, Великое, спи. Не нужна нам твоя мудрость, и память, спящая в тебе, нам тоже не нужна. Но Батюшки больше нет, а вместе с ним канули в небытие те договоры, что успел он заключить с этой землей за свой человеческий век.

– Озеро еще спит, но беспокойно, Дема, – горячо шептала Аксинья, собирая его в дорогу. – А лес засыпает... Ему бы буйствовать, цвести, петь... А он уходит в гниль да дрему.

– А я что могу? – Демьян потянул лямку холщовой сумки и вспомнил, как ослепительно больно режет она плечи спустя час ходьбы.

– Ты все можешь! – Серые глаза сверкнули сталью. – Ты мой сын, ты его сын. Ты теперь как он. Только ты всегда был его лучше, Демочка... – И так по-бабьи всхлипнула, что Демьян почти поверил.

– Кажется, не в наших правилах вспоминать, кто из нас чей, а? – вкладывая весь яд, который был в нем, спросил Демьян. – Ты всем Матушка, он всем Батюшка... был. Так чего ж ты мелешь, баба? – И осклабился, как хорек, самому противно стало.

Аксинья тут же выпрямилась, шагнула к нему и сухой ладонью шлепнула по щеке.

– Постыдился бы... – Качнула головой, медная коса с серебряными нитями седины всколыхнулась в такт. – Не я наши правила писала. И даже не он. Лес их нам в дар протянул, принял нас. Мы по ним жили, по ним и умрем. Но я всегда помнила, что ты мой.

Демьян на мгновение зажмурился, чтобы не видеть стоящую перед ним мать. В ее присутствии он мгновенно забывал, что больше не тот голоногий мальчишка с хвостиком в волосах, которым был раньше. Но пока Дема трясся в вонючем автобусе по дороге сюда, успел поклясться сам себе, что старая ведьма больше не будет иметь над ним власти. Пора было исполнить клятву.

– Всегда помнила, говоришь? – спросил он и посмотрел ей прямо в глаза. – А когда волкам меня отдала? Когда секла до кровавых пузырей? Когда Полю... – И все-таки сбился, зашелся кашлем.

Пока утирал слезы, проталкивал воздух в грудь, Акси́нья успела выйти из комнаты. Только собранный мешок остался в центре комнаты.

– Сука, – просипел Де́ма в темный провал двери.

Но ему никто не ответил.

Так и шел он по лесу, все дальше забираясь в чащу, да чуть слышно костерил глупую бабу, злобную ведьму, мерзкую тварь, мать свою по крови, Акси́нью. Только ничего это не меняло. Он мог хоть выпью кричать на весь лес о своей ненависти, а она все-таки взяла свое.

Позвала, и он вернулся. Приказала, и он послушался. Даже когда лес зашумел, предупреждая нового Хозяина о чужаке, Де́мьян покорно пошел на запах, припадая к земле, пока не наткнулся на полуголую, полумертвую девицу.

И откуда только берутся они, хворые да безумные? Этот вопрос мучил их с Феклой все короткое, но такое вольное, такое счастливое детство.

Почему Ба́тюшка порой замирал на полуслове, бросал все и спешил в лес? А возвращался уже не один. С девушкой или пареньком. Худенькие, хворые, как долго они спали потом! Как жадно следил за их сном Де́ма! Они даже пахли иначе, он и тогда мог различить в запахе леса чужие нотки. Как невыносимо было мучиться догадками. Куда уведут их, когда они наконец просыпаются? Почему они идут, спотыкаясь на каждой кочке, безумно улыбаясь в ответ на чуть слышный шепот-наговор?

Ответы стали камушками на весах решения сбежать. Но теперь Де́мьян сам, не раздумывая ни мгновения, подхватил безвольное девичье тело и потащил к дому. Отдал Глаше, не глядя той в глаза, и ушел так быстро, как смог.

Чтобы не слышать одобрительных слов Акси́нии, чтобы не отвечать на робкие поздравления Лежки, чтобы Сте́ша не успела сказать ему что-то жалостливое, а главное, чтобы Фекла не вышла на ступени крыльца, говоря сама с собою. Больше всего Де́мьян боялся разглядеть в ее неровной поступи тех, уходящих вслед за Ба́тюшкой в лес, чтобы никогда не вернуться.

До озера было еще идти и идти по густой враждебной чаще, но Де́ма уже чувал его. Этот тяжелый запах стоячей воды, эту прелую траву, эти камыши, грубым ремнем охватившие берег. Этот лягушачий хор на мелководе. Когда ни приди, обязательно услышишь их песню. Де́мьян ненавидел лягушек, Де́мьян ненавидел камыши, ненавидел запах большой воды. Ненавидел озеро. Ненавидел того, кто спит на его дне. Но все равно шел к нему на поклон.

Под ногами теперь беспрестанно хлюпало. Сухих кочек становилось все меньше, под слоем мха скрывались вода и гниль – жижа болота, которое тянуло свои склизкие лапы дальше и дальше. Прочь от озера, в лес, где не было ему места и права быть.

Ноги Де́мьян промочил еще на рассвете, когда в полутьме выдвинулся вперед, окончательно промерзший за бесконечную ночь. Он кутался в тонкое стеганое покрывало, которое Сте́шка все-таки сунула ему в мешок, хотя не должна была.

«Хозяин не убоится ночи в лесу. Сама земля согреет тело, не позволит холоду одолеть дух», – так учила его Акси́нья, отправляя в лес еще пацаненком, худым и испуганным.

Он дважды чуть не умер – метался в лихорадке, мучился от жара и удушья, а она лишь качала головой. Разочарованная им, как всегда. Ба́тюшка хмурил брови, но не перечил своей первой, главной своей жене.

– Гарем, мать вашу, – прошипел Де́ма, натягивая покрывало.

Он бы и хотел не думать об отце. Закрыть глаза и не видеть его седую голову, восковое лицо, рубаху, не скрывающую костей, обтянутых кожей. На деревянных носилках они с Лежкой несли его мертвого через лес, а Ба́тюшка высился над ними, грозный, как обычно, суровый

даже, но какой-то маленький, высохший, а потому не казавшийся настоящим. Словно кукла. Жалкий муляж.

Ведь не мог человек, одним прикосновением умеющий остановить сердце зверя, стать таким – безвольным стариком, умершим от дряхлости и бессилия в собственной моче? Просто не имел права стать безумцем с трясущимися руками. А потому лесу в тот день Демьян отдал не отца, а незнакомца.

Ему было и правда жаль старика, которого они осторожно опустили на траву круглой поляны. Но признать в нем отца, а тем более Батюшку, Дема так и не смог. Прикоснулся губами к холодному лбу, как было принято, помолчал, вслушиваясь в сдавленные рыдания Глаши, и зашагал обратно к дому.

Ни единой струнки в душе его не зазвенело. А тут, гляди-ка, стоило только зайти в лес, как образ отца начал мерещиться в каждой тени. Сколько раз Хозяин ходил по этим тропам к большой воде? Сколько ночей мерз на еловых ветках? Брал ли он с собой запретное покрывало? Говорил ли с ночными птицами, кивал ли старому лосю? Что рассказывал ему никогда не засыпающий лес? Какие соки струились в стволах деревьев под чуткой его ладонью?

Мысль, что отец никогда не ответит ему, доставляла Демьяну странную тянущую боль в груди. Он давно не испытывал ничего, кроме тихо рокочущей злобы, и новые чувства казались теперь невыносимыми. Демьян долго ворочался, то уходя в беспокойную дрему, то вскакивая от ощущения, что кто-то смотрит на него немигающим взглядом.

– Конечно, смотрит, хорек ты глупый... Ты же в лесу. И что? – успокаивал он себя, но легче не становилось.

Казалось, отец стоит в тени зарослей, гладит бороду желтоватой мертвой рукой и смотрит на сына, как обычно смотрела мать. Мол, что ж ты, Дема, нас подвел? Что ж ты, мальчик наш, получился таким никчемным? Почему лес пугает тебя так сильно, что ты не смог встать с Батюшкой плечом к плечу? Почему сбежал, сын? Почему струсил?

Слишком много вопросов для одной ночи в холодном лесу, решил Дема. Поднялся с еловой постели и тут же угодил в глубокую болотную яму.

Демьян мог бы поклясться, что, устраиваясь на ночлег, этой ямы он не заметил. А значит, ее не было. А значит, Аксиныя не соврала. Лес, оставшийся без Хозяина, засыпал. Но свято место пусто не бывает. На смену ему проснулась вода. И тот, кто ею правит.

Стоило поспешить.

До сумерек Дема прошагал, не останавливаясь на отдых. В животе тоскливо ныло от голода, он нащупал в сумке запрещенный кусок хлеба – очередную тайную весточку сестры – и ухмыльнулся.

«Лес прокормит Хозяина, – вдалбливала в его вихрастую голову мать, отправляя сына в чащобу без единой крошки. – Птица, ягода, корешок. Хозяин должен знать, что предлагает в дар ему лес, и брать это как присущее по праву».

Своего первого зайца Дема поймал в девять лет. Подыхая от голода, на пятый день скитаний, отравившись ягодами еще в первый. Заяц дергался в силках, смотрел на Демьяна налившим кровью глазом и никак не мог окончательно задохнуться в слабых мальчишеских узлах.

– Если я тебя отпущу, то помру, – долго объяснял ему Дема, склонившись к силкам. – Понимаешь, я сдохну... А мне нельзя... Никак нельзя.

Нельзя, потому что обещал Фекле вернуться, – она плакала, стоя на самой кромке леса, когда провожала брата в путь. Слезы горошинами текли по ее щекам. А она не замечала их, и те падали вниз с острого подбородка прямо на платье – легонькое, голубое, с неровно отрезанным подолом. Почему-то его Дема запомнил лучше остальных. А еще Полю. Она держала девочку за плечо, не давая побежать следом. И только шептала что-то, чуть шевеля губами. Каждый раз, когда Демьян оборачивался на них, то ловил ее строгий печальный взгляд и чувствовал, как страх уходит.

Аксинья его не провожала. Никогда.

В тот день зайца Дема все-таки задушил. Ободрал шкурку, выпотрошил, подвесил над костром. Но заснул. Мясо пересохло – жесткое, несоленое. Забилося между зубами. От него Дему вывернуло в кустах. Только зря загубил животинку.

С тех пор много листьев опало, чтобы сгнить и дать силы новой листве. Но тот заячий взгляд, налитый кровью и страхом, Демьян помнил так же отчетливо, как глаза провожавшей его Пелагеи.

– Не смей! – прикрикнул он на себя.

Стоило оживить в памяти фарфор ее тонкой кожи, русые с рыжинкой волосы в мягких волнах, глаза, отдающие зеленцой, как все внутри скручивалось от боли.

Было время, когда он все пытался подсчитать, на сколько лет Полина младше своих сестер. Тетка Глаша всегда казалась Демьяну древней старухой. Родившая троих, раз в три года, как по часам, она отдала им силы и всю свою красоту. Аксинья же, средняя сестра, была вне времени. Правила жизни не трогали ее, не касались даже слабым отголоском. Только Полечка, последняя из трех отцовых жен, и была самой жизнью. Полной света, падающего через густую листву, звонкой росы на заревом поле, сладкой земляники и студеной ночи, когда звезды опускаются на плечи любому, вышедшему глотнуть мороза.

Как можно было сравнивать сестер? Как можно было выставить единым списком года рождений, если это не имело никакого смысла? Не описывало ничего из тысяч вещей, которыми они были?

Ребенком Демьян думал, что Батюшка, должно быть, очень хороший человек, если три жены отдают ему всю любовь, что в них есть. Перед самым побегом Дема ненавидел отца за каждый вдох и выдох, за каждый день, который тот проживает в мире, где нет больше Поли. В странном их быте на краю леса не было места той любви, которая пожирала Демьяна подобно смертельной хвори. А значит, ни одну из своих жен Батюшка не заслужил. Может, только Аксинью, в наказание за грехи.

Но, подходя к озеру, хлюпая ногами в болотной жиже, Дема осознал наконец: этот мир так далек от реальности, что его нельзя мерить человеческими рамками. Хозяин взял своих женщин по праву сильного, как брал эти земли. В тот самый миг, когда они перешагнули порог дома, правда человеческая в них сменилась правдой лесной. И смешно рассчитывать, что правила людей поймут тут хоть какой-нибудь вес.

– Вот и ты, Великое, – проговорил Демьян, подходя к берегу. – Это я пришел. Хозяин леса.

Камыши приветственно качнулись ему в ответ. Стая серых уток с шумом поднялась в воздух, ветер разнес их запах – мокрое перо, рыбий дух. Дема осел на мокрую землю, рыжую от песка, тяжело качнулась в нем дурнота предчувствия, но отступить было поздно.

– Спи, Великое, – попросил он. – Спи, нечего нам делить.

За мгновение до того, как его ладони опустились в озеро, из подтопленных зарослей бесшумно взлетела черная лебедица. Но этого Демьян не видел: глаза ему заволокла мутная, тяжелая вода.

Олеся

Лесе снилось, как она идет по колено в траве, настолько густой, что не видно ног. Только ступни прикасаются к рыхлой влажной земле где-то внизу. Трава была мягкой и зеленой, без противного налета городской пыли, без желтых пятен, выгоревших на солнце. Если бы Леся не чувствовала, как колышутся от ее движений стебельки, то траву эту легко можно было бы принять за зеленоватую волну спокойной, большой воды.

«Надо же, как интересно», – думала Олеся, проводя ладонью по травяным головам, а те склонялись перед ней в приветственном поклоне.

Она лукавила. И трава эта, и высокое небо над головой не вызывали в Лесе особенного интереса. Не было ни любопытства, ни страха. Она не могла вспомнить, куда идет, но точно знала, что идти нужно. Обязательно. Просто шагать вперед, вдыхая аромат теплой травы.

Когда ветер принес ей отголосок девичьего смеха, словно серебряные колокольчики нежным переливом раззвенелись впереди, Олеся ускорила шаг. Она не любила опаздывать. Ей казалось, что в тот самый момент, когда она только движется навстречу чему-то важному, это важное уже свершается. Без нее.

Олеся смутно помнила, как часто она приходила намного раньше, чем следовало, в самые разные места. И томилась ожиданием, и злилась то ли на себя, то ли на того, кто только шел к ней. Но память эта утратила всякую нужность.

Так ли важно, снится ли ей этот лес, а может, Леся правда идет по нему, ощущая босыми ногами упругую силу земли? Так ли важно, что случалось с ней когда-то давно, когда-то раньше? Так ли важно это «раньше», если у нее теперь есть сейчас? Эта трава, эта лазурь неба, этот смех впереди.

Проход между высокими деревьями, по которому шагала Леся, становился все уже. Трава редела, ее сменяли колючий кустарник и прохладный мох на боках серых камней. Леся обходила их стороной, зябко ежилась. От лазурного неба ее отделяли перепутанные кроны деревьев. Может быть, там, высоко, солнце продолжало полуденно светить, но в чаще леса его сила меркла, запутавшись среди ветвей и коряг.

Смех раздался чуть ближе, эхо подхватило его, множа тысячами голосов, и Леся поспешила следом. Она шла, не видя ничего перед собой, то срываясь на бег, то оскальзываясь на болотных кочках. Голые ноги испачкались в грязи, глубокая царапина от острой ветки налилась кровью, очерчивая линию от щиколотки до бедра, но Леся не чувствовала боли. Каждый раз, когда смех звенел впереди, она рвалась к нему, моля чуть слышно, чтобы тот не исчез, чтобы довел туда, куда так отчаянно тянет ее через чащобы.

Что-то важное скрывалось в этом лесу. Олеся ловила на себе напряженные взгляды, слышала отголоски шепота. Но никто не спешил выходить на тропу, один лишь смех вел ее вперед. Когда деревья внезапно и резко расступились, Олеся обхватила серый ствол осины и спряталась за ним, всем телом прижалась к коре.

Ровные края поляны очерчивал жесткий кустарник, деревья высились чуть в отдалении, будто боялись приблизиться. И Леся разделяла их страх. Что-то пугающее было сокрыто здесь.

«Я сплю, я сплю, – твердила она. – Это сон!»

По ногам пробежал холодок влажной земли. Над ухом деловито жужжал круглобокий шмель. Полуденный дух леса был спокойным и плотным. Пахло теплой травой и мхом. Деревья шумели на ветру. Все это никак не походило на сон, но, когда на поляну выбежала девушка в невесомом платье до самой земли, Леся облегченно выдохнула. Ну конечно же, это сон.

Девушка светилась изнутри, она будто вся состояла из света. Длинные волосы, заплетенные в свободные косы, развевались, когда она принялась кружиться, оглядываясь в поисках кого-то по сторонам.

Между деревьями снова зазвенел смех. Олеся вздрогнула, но отвести глаз от девушки не сумела. Та опустилась к земле, прижала к ней ладони, только платье светлым шатром раскинулась вокруг. Смех стал громче. Девушка подняла голову, тонкие черты ее лица лучились радостью.

На одно мгновение Лесе показалось, что это зверь смотрит на нее. И взгляд прозрачных серых глаз заставил ее отшатнуться, скользнуть за деревья, прижав ладонь к груди, чтобы сердце не выскочило наружу.

– Пусть сон. Пусть это сон, пожалуйста! – шептала она, не зная, у кого просит милости.

Смех раздался очень близко. Тонкий, совсем детский, переливчатый, томный, высокий и низкий. И когда смеющиеся вышли из-за деревьев, каждая со своей стороны – шесть девушек в таких же светлых платьях, с такими же косами, как и у той, ожидающей их на поляне, – Олеся уже не помнила себя от страха.

Они прошли так близко, что холод, растекающийся от них по траве и мху, настиг Лесю прежде, чем со всей ясностью она поняла: часть леса, живая, но мертвая, – вот кем были смеющиеся.

– Сестрицы! – радостно воскликнула одна из них.

– Сестры мои! – запричитала другая.

– Вот и свиделись... – выдохнула третья, прижимая к себе ту, что пришла первой.

Не чуя себя от страха, Леся попятилась, припала к стволу. Девушки стояли в самом центре, чуть раскачиваясь в объятиях, держась за руки, ласково проводя ладонями по волосам сестер. Самая старшая из них, чьи русые волосы отдавали благородной медью, присела рядом с маленькой девочкой, прижала ее к себе и принялась горячо шептать ей на ухо. Зазвенели колокольчики смеха, понеслись по лесу, гонимые ветром.

– Ну тебя, Милка, весь лес взбеленишь! – Самая темненькая из них нахмурилась, поправила ворот белоснежного платья. – И ты, Поляша, угомонись, некогда нам, время течет...

Названная Поляшей поднялась, потянулась к ней рукой.

– Твоя правда, Дарена, берись скорее...

Та схватилась за протянутую ладонь своей, а второй взяла за ручку Милку, и девочка вмиг потеряла ребяческий вид. Гомон, воцарившийся было на поляне, стих. Никто больше не смеялся, никто не хватал подруг за тонкие запястья, не притягивал к себе. Свет падал на их бледные лица, заострял черты.

Ровный круг поляны теперь повторялся в ровном круге девичьих тел. Ладони сжимали ладони. Дыхание вторило дыханию.

– Здравствуй, лес, – пропела названная Поляшей. – Время твоё проходит, Хозяин твой гниет в земле. Засыпай, лес, засыпай...

– Тише, лес, – подхватила Дарена. – Тише, нет в тебе силы, нет в тебе страха. Засыпаешь ты, засыпает жизнь... Тише.

– Спи, – чуть слышно шепнула пришедшая сюда первой. – Спи.

Они плавно склонились над землей и, не разжимая ладоней, заскользили по кругу. Их движения, легкие, как взмах крыла самой маленькой птички, убаюкивали Олесю. По телу разлилось тепло, ноги потяжелели, веки начали опускаться, и Леся погрузилась в беспросветную тьму.

«Это сон, – попыталась напомнить она себе. – Нельзя уснуть во сне».

– Тише-тише, спи, лес, ты так много трудился, так долго жил... Никто не станет больше лишать тебя силы. Хозяин ушел, ты можешь отдохнуть... – прошептали совсем близко.

Леся рванулась в сторону, под ноги попала сухая коряга. Шепот оборвался криком. Когда Леся сумела наконец подняться с земли, на поляне никого не осталось. Сестры исчезли, испарились, они вспорхнули, подобно птицам, оборвав свой сонный пленительный наговор.

Поляна больше не казалась опасной. Прогалина, лишенная деревьев. Ни страха в ней, ни силы. Там, где мгновение назад еще кружились светлые фигуры, не осталось ни следа. Ни примятой травы, ни сорванных цветков. Только перо, похожее на лоскуток легкой ткани, белело на зеленом полотне.

Леся потянулась к перышку, но пальцы схватили лишь пустоту. Внезапный порыв ветра поднял его в воздух, и оно понеслось вверх, выше деревьев, а может, и выше неба. Олесья проводила его взглядом, глаза слезились от лучей полуденного солнца. Ей почудилось, что это белая лебедица растворяется в лазурной синеве.

Леся и сама не поняла, как проснулась. Просто горячий воздух леса сменился прохладой чистой простыни, а высокое небо – деревянным потолком. Тело наполнилось пружинистой силой. Леся откинула покрывало, опустила ноги на пол, и внезапная боль обожгла ее раскаленным железом.

Длинная, с подсохшей кровью царапина тянулась от щиколотки к бедру.

Волчья яма

Демьян

Демьян не умел плавать. Об этом он с кривой ухмылкой сообщил в институте, когда ему предложили выбрать занятия для физподготовки.

– Бегать могу, атлетика вся эта ваша... Тоже могу. А бассейн – нет, спасибо.

Пришлось соврать про детскую травму и стойкую боязнь воды. Соврать, конечно, наполовину. В истории про старый пруд и мальчишек, его туда столкнувших, правды было столько же, сколько и вымысла.

Вместо пруда – спящее озеро. Вместо мальчишек – волчья стая, решившая попробовать его «на слабо». В воду Дема прыгнул, куда деваться? И тут же начал тонуть. Просто шел на дно, сколько бы ни барахтал руками, ни бился, силясь всплыть. Но страшно было не это. Подумаешь, дышать нечем. Подумаешь, уши заливают водой. Мелочи. Жутким было иное. То, что Дема так и не сумел облечь в слова. Но стоило оказаться под водой, как его потянуло вниз. Ко дну. словно что-то большое и сильное звало – ни поспорить с ним, ни побороться. Из озера вытащил старый друг – Рваное Ухо, как звал его Дема в своем человеческом желании давать имена всему, что дорого. Вытащил на берег, беззлобно кусаясь, отряхнулся, посмотрел на дрожащего Дему и зашелся кашляющим лаем – обсмеял дурака.

Но в этот раз на помощь бросаться было некому. Что стало за шесть лет с Рванным Ухом и остальными – блохастыми, серыми, воняющими псиной, но родными членами стаи, – Дема старался не думать. Шесть голодных зим, шесть изматывающих лет... За это время волчья свора сменяется от старого вожака до слепых кутят. Нет больше Рваного Уха. И точка.

Но зубы, схватившиеся за край рубашки, мышцы, играющие под жестким мехом, пока волк тащил Демьяна наверх, тут же вспомнились, стоило воде сомкнуться над головой. Как он попал на глубину, Дема так и не понял. Только потянулся, чтобы дотронуться до воды, опустить в нее ладони, послушать, спокоен ли сон, а вода сама пришла к нему, утащила, нахлынула, завертела. Вот тебе и Великое Озеро – спящее, мертвое даже. Вот тебе и Хозяин леса.

«Мокрый сморчок ты», – металось в голове Демьяна, пока тот рвался из цепких лап подводного течения.

Ничего не получалось: вода залила уши, в голове шумело, легкие рвались надвое от невозможности вдохнуть.

«Я сейчас утону», – совершенно спокойно понял Дема, опуская онемевшие руки.

Одежда стала тяжелой, все тело охватило отстраненное предчувствие смерти. Где-то очень высоко светило солнце, но через толщу воды Дема не мог дотянуться до его тепла, не мог забрать силу деревьев, не мог помочь себе ни единым из способов, которые не хотел, да перенял у отца.

Демьян рванулся еще раз, из чистой злости.

«Лучше бы плавать научился», – равнодушно подумал он, и озерное дно, рыхлое от тины и сна, приняло его в свои объятия.

Олеся

Засохшая царапина тянулась от щиколотки к бедру. Леся потерла глаза, посмотрела снова. Царапина продолжала быть. Леся потянулась, отдернула с окна занавеску, чтобы свет прогнал морок. Но царапина – бурая, грязноватая по краям – оставалась царапиной.

– Да быть не может, – пробормотала Олеся.

Ей было даже смешно от нереальности происходящего. Просто невозможно сидеть здесь, на этой скрипучей кровати, и смотреть, как царапина из сна пересекает кожу, настоящую, чуть влажную от холодного пота. То ли сновидение было таким изматывающим, то ли это прогулка по лесу так ее утомила. Теперь Леся не была уверена ни в чем.

Потому осторожно приподнялась, подошла к двери, толкнула ее легонько и даже охнула от облегчения. Не заперто. Легкий скрип разошедшегося дерева и черный провал коридора – иди себе, девица, куда ноги поведут.

Ноги повели прочь из дома. Она скользнула мимо двух запертых тяжелых дверей и выбралась наружу. Стоял жаркий полдень. Леся попыталась вспомнить, какое сегодня число. Перед глазами тут же всплыл разлинованный разворот школьного дневника. Пальцы сами потянулись дотронуться до верхнего столбца – понедельник, вторник ниже, среда совсем внизу, и на следующей странице уже четверг, пятница, а там и последний квадратик – суббота. А воскресенье – неловкий взмах в сторону. Автоматизм движения подсчета. Сколько бы лет ни прошло с твоего последнего дневника, ты все равно считаешь дни именно так.

Только Леся не помнила. Каким был этот последний дневник, а каким – первый? И были ли они вообще? Зато вспоминался запах школьной столовой – компот со сморщенными яблоками, сухая булка и ровный брусочек масла. И тефтели в томатной пасте, разведенной водой. А дальше – сплошной кисель из образов и их осколков.

Можно хоть весь день простоять так, бездумно вглядываясь в лес, шелестящий за границей поляны, но выудить из кисельного омута хоть один законченный, цельный кусочек воспоминания не выйдет. Леся потопталась на крыльце и медленно спустилась вниз.

На голове уже не было повязки, волосы свободно рассыпались по плечам. Олеся пропустила локоны между пальцев, удивляясь, когда же это они успели стать такими длинными, такими густыми и русыми. Но тут же поняла, что легко могла забыть пару лет жизни, за которые любой крашеный ежик вырастает в роскошную гриву – мягкую и ласковую, словно лесной ручеек.

Леся обошла крыльцо, чуть покачнувшись от слабости, но под босыми ступнями приятно пружинила мягкая земля, вытоптанная, выметенная заботливыми руками. В тени дома было прохладно, но жар солнца лился на сонную поляну, и в короткой рубашке, надетой на голое тело, Леся не зябла. Только подтягивала вниз подол, чтобы тот прикрывал колени. Она прошла немного, держась за деревянную стену, и заглянула за угол. По внутреннему дворику чинно шагал большой петух. Грозный, с массивной грудью и алым гребешком, он зорко следил за куриным мельтешением возле его лап. Стоило серенькой курочке отойти чуть дальше, чем было позволено, петух начинал волноваться, внутри у него булькало, как в закипающем чайнике, и покорная курица возвращалась на место.

Леся оценила тяжелый острый клюв ревнивой птицы и тихонечко попятилась. Но было поздно.

– Ко-о-о? – с возмущением протянул петух и расправил крылья.

Ноги тут же онемели от страха.

Теперь огненная птица стала еще опаснее и злее. Распушив перья, петух медленно двинулся на Лесю, он клокотал и тряс красным хохолком, скрипели острые шпоры на когтистых лапах.

– Птичка, – робко попросила Леся. – Успокойся ты, а? Я сейчас уйду... Птичка!

Услышав ее голос, петух окончательно рассвирепел: он гортанно вскрикнул, задрал иссиня-черную лоснящуюся шею, и ринулся в бой. Мгновение – и его тяжелое птичье тело впечаталось бы в Лесю, повалило бы ее на землю, а острый клюв завершил бы начатое.

Леся закрыла руками лицо, вжалась в стену, но даже не попробовала убежать. Страх парализовал ее. Она слышала только, как взволнованно кудахчут курочки и как яростно клочечет петух.

– Ну-ка, пошел отсюда!

Мужской голос прорвал пелену бессилия, Леся бросилась в сторону, поскользнувшись, запуталась в собственных ногах, упала и затихла в пыли, продолжая закрывать лицо.

– Пошел, говорю! Кыш! Кыш! – кричал кто-то, отгоняя петуха.

Он недовольно зашуршал крыльями, закудахтали куры, врассыпную кинулись прочь с вытоптанного дворика.

– У, холера тебя скрути! – прикрикнул им вслед хозяин.

Он приблизился, склонился над Лесей. Та сразу почувствовала его запах – сено, земля, чуть пьяная дрожжевая закваска. Именно так пахнут пекари. С их теплыми, мягкими руками. Отрывая ладони от лица, Леся ожидала увидеть добродушное круглое лицо, может, в россыпи веснушек, с рыжими бровями и прозрачными ресницами.

Но перед ней на короточках сидел небесной красоты юноша. Других слов она просто не могла подобрать. Тонкий, словно вылепленный из лунного света, сияющий изнутри, он смахнул со лба длинную темно-русую прядку и улыбнулся.

– Живая? Дурная птица, на всех бросается. Давно в суп его пора... Да Матушка не дает.

Леся судорожно сглотнула, не отрывая от него глаз.

– Ты бы встала... – осторожно предложил парень. – Тут скотина ходит к воде... Сама понимаешь.

И протянул ей ладонь. Тонкая кисть, узкое запястье, грубая ткань рукава. Фарфоровая кожа на пальцах загрубела от мозолей. От середины ладони, между большим и указательным, тянулся грубый рубец шрама, словно парень схватился за раскаленную ручку кастрюли или противня.

– Ты хлеб печешь? – невпопад спросила Леся, вдыхая исходящий от него дрожжевой запах.

Тот улыбнулся еще шире.

– Голодная, что ли? Так пойдем, я покормлю.

Ладонь оказалась теплой и мягкой. Он легко потянул Лесю к себе, помогая встать. В тонких руках скрывалась странная, почти пугающая сила.

– Меня Олегом звать, Лежкой, – представился он и повел ее через двор к низенькой постройке, откуда лился сытный запах хлеба. – А ты, стало быть, гостя наша?

– Да, – только и ответила Леся, внутренне сжимаясь от тревоги.

Если бы парень начал ее расспрашивать, если бы задал хоть один вопрос, на который внутри только кисель беспамьятия и всколыхнулся бы, она точно не сдержалась бы и зарыдала. Пока никто, кроме тебя самого, не знает о случившейся беде, то и беды этой для мира почти не существует.

Но признание овеществит ее, мигом отыщет выемку в мироздании, куда эта самая беда встанет как влитая, чтобы превратиться во что-то неизбежное и свершенное.

Но Олег просто шел вперед, поддерживая Лесю за локоть, и ни о чем не спрашивал. Когда они шагнули под навес у крыльца постройки, запах хлеба стал почти невыносимым. Желудок до дурноты свело голодом. Леся жадно глотнула сытный дух, такой плотный, что им, казалось, можно наестся. Не замечая ее терзаний, Олег откинул серую ткань, прикрывающую полки, и Леся увидела целый ряд толстобочих буханочек. Она с трудом сдержала стон.

– На вот, это с яблоком, – сказал Лежка, протягивая ей пышную булочку. – Молоко будешь?

Леся кивнула, но тут же задумалась. А вдруг на молоко у нее аллергия? А вдруг и на яблоки? А может, ей вообще нельзя мучного? Что она знает о своем теле и почему здоровый голод и пружинящая сила в нем кажутся Лесе такими необычными, забытыми чувствами?

Перед глазами всплыли холодные белые стены палаты. Измученный голос старой женщины, сидящей рядом. Ее седые волосы, ее иссохшее от переживаний лицо.

– Выпей, выпей молочка, Леся... – просительно твердит она, и белая кружка мелко трясется в руке. – Доктор сказал, что после... – Она тяжело проглатывает слово, так и не произнеся его. – Что тебе нужно молоко. Выпей.

И Олеся пьет, с трудом проталкивая белую, разведенную водой жидкость, и ее почти сразу мучительно рвет в тазик. В ушах гудит от напряжения, но всхлипы бабушки пробиваются через этот шум, бьют наотмашь, заставляют давиться молочной рвотой.

– Нет, – слишком резко ответила Леся, прогоняя воспоминание. – Я не буду. Не хочу.

Олег посмотрел на нее с удивлением, но ничего не сказал.

– Спасибо, – смущенно добавила она, хватая булочку. – Я правда очень голодная... Не помню, когда в последний раз ела.

Пушистое тесто и кисловатая начинка наполнили рот. Достаточно было схватить зубами пышный бок, чтобы вмиг перестать волноваться о белой комнате. Разве имеет значение то, что уже прошло? Разве может терзать то, о чем ты лишь смутно помнишь? Разве нет в забвении милосердия? Разве есть в нем хоть что-нибудь, кроме этого?

Чтобы не смущать ее, Олег отошел в сторонку и поднял крышку деревянной кадки. Олеся увидела, как оттуда выпирает подходящее тесто. Лежка осторожно умял его легкими похлопываниями и укутал бока кадки в ткань. Точные и ласковые движения умелых рук. Все это было ему понятно и знакомо, все это доставляло ему удовольствие. Кусая булочку, Леся наблюдала, как губы его чуть заметно трогает улыбка, как он что-то шепчет себе под нос, смахивая с лица прядки волос, чтобы те не мешались. Так может выглядеть лишь тот, кто оказался на своем месте. А значит, почти никто. Кроме странного красивого мальчика.

Когда пиршества оставалось на два укуса, Олеся поняла, что наелась. Она покрошила булочку, вышла на крыльцо и ссыпала крошки на землю.

– Откуда ты знаешь, что нужно делиться? – Олег оказался рядом, удивленно за ней наблюдая.

Леся попыталась вспомнить. Кажется, мужчина с большими и сильными руками, тот, память о котором так сложно выудить из самых глубоких омутов киселя, говорил ей когда-то: «Сама поела – дай другим насытиться. Что тебе крошка? А в мире будет равновесие».

Но как объяснить это парню, застывшему в дверях?

– Просто решила курочек покормить. Они перепугались сегодня, вон как кудахтали, – ответила она, слабо улыбаясь.

Олег постоял, взвешивая ее ответ, и кивнул.

– Непокойное время, даже птица дурная чует...

И было в этих словах столько горечи, очень взрослой, даже стариковской, что Леся ждалась, будто в жаркий день угодила в глубокую яму, полную холодной воды. Мурашки пробежали по ногам, она тут же вспомнила, какая короткая рубаха прикрывает ее обнаженное тело, и дернула вниз подол. Ткань затрещала, оголяя бедро. Длинная ссадина на ноге, сероватая от пыли, слабо сочилась сукровицей. Леся потянулась к царапине и тут же зашипела от боли.

– Ты чего? – Олег соскочил с лестницы и присел у ее ног. – Нельзя же грязными руками!

Ссадина словно только и ждала, чтобы про нее вспомнили, – тут же принялась гореть болью. То ли от растерянности, то ли от смущения Леся всхлипнула, чувствуя, как жар заливает

щеки. Олег сидел перед ней на корточках и рассматривал царапину, но, услышав звук, тут же поднял лицо.

В его серых глазах читалась растерянность.

– Ты где это так? – спросил он, и Леся обожглась холодностью его тона.

– Ну... когда упала... Из-за петуха, – соврала она, пытаясь успокоить бешено скачущее сердце.

– Нет. – Олег покачал головой и поднялся на ноги. – Это ты... – Он запнулся, помолчал, бросил на Лесю еще один взгляд. – Ты там была, да? В лесу?

Тревожные запахи чащи, шорох льна по траве, сестры, тянущие друг к другу ладони. Увиденное во сне встало перед глазами. Память, подобно сити, просеивала каждый миг жизни, отбирая мгновения по своему собственному разумению. И каждый раз не те. Но стоило Олегу произнести это слово, как позабытый лес перестал казаться сном. Да и позабытым – тоже.

– Нет, – выдохнула Леся, делая шаг назад. – Меня там не было. Я спала. Я спала! – Она уже кричала, прижимая ладони к груди.

Слезы текли по щекам, испуганное лицо Олега таяло в их соленой пелене.

– Я спала! – надрывалась она, чувствуя, как цепкие руки подхватывают ее со спины. – Отпусти! – И сорвалась на визг: – Не трогай!

Ее крик подхватил внезапный порыв ураганного ветра.

– Отпусти! – кричала Леся, вырываясь из сильных рук.

А деревья, обступившие поляну, склоняли макушки от ее голоса.

– Не смей! – вопила она.

А ветер поднимал в воздух пыль и сор.

– Я спала! – надрывалась Леся, не помня себя и того, почему же она так кричит, и плачет, и воет, вторя буре.

Низенькая хлебная пристройка качалась, крыльцо скрипело, где-то вдалеке, шумно ломая ветки своим вековым соседям, упала сосенка. Слов уже не было, но Олеся продолжала кричать – так страшно, так больно, так невыносимо яростно ей было.

Это закончилось в одно мгновение. Из нее будто выбили дух, и Леся упала ничком, не чувствуя, как подхватывают ее мягкие сильные руки Олега. Не видя, какой смертельной бледностью залило стареющее бесстрастное лицо Матушки Аксины.

И пока они молчали, посеченные бурей, на середину двора шагнул петух. Он задрал голову и прокукарекал, словно бы в середине обычного летнего дня началось что-то иное. Что-то новое. Что-то, сулящее перемены.

* * *

Царапину Аксиныя промывала долго и старательно. Не произнося ни слова, она опускала свернутую ткань в горячую, пахнущую травами воду, давала ей напиться целебным отваром, а после принималась протирать воспаленную кожу. Леся жмурилась от боли и жара, закусывала губу, но тоже молчала, не решалась заговорить.

Олег помог ей подняться с земли, придерживая каким-то очень привычным, очень родным движением, – его рука покоилась чуть выше бедра, перенося большую часть веса Олеси на себя. Ей оставалось покориться и хромать вперед, стараясь поспеть за Аксиныей. Та решительно шагала к главному дому, прямая и грозная, только коса – седина и медь – покачивалась в такт.

Когда петух закончил кукарекать, скрипуче оборвав последнюю ноту, они, все трое, долго еще не двигались и, кажется, не дышали. Олеся лежала на земле, Олег склонился над ней, придерживая за плечи, а мертвецки бледная Аксиныя высилась над ними, бесстрастная, только костлявые ладони сжаты в кулаки. А потом кивнула Олегу, развернулась и зашагала к дому.

– Пойдем, – шепнул Лежка, поспешно помогая ей подняться.

И Леся пошла, что еще ей оставалось делать? С каждым шагом случившееся во дворе становилось все запутаннее. Олеся испугалась вопросов о сне... И? Закричала, кажется. А потом поднялся сильный ветер. И она испугалась еще сильнее. А тут еще Аксиныя подошла и схватила ее. Потому Леся кричала, пока совсем не выдохлась, а после упала. Ничего необычного, если брать в расчет, что под волосами еще нет-нет, да побаливает затянувшаяся рана.

Но почему тогда так напряженно молчит Олег? Тащит ее к дому, сопит чуть слышно, но не говорит ни слова. Мог ведь спросить, как она. Мог ведь подивиться странному порыву ветра. Но нет. Он шел рядом, услужливо предлагая свою помощь, но тепла в нем, которое так остро чувствовала Леся, не осталось. Ему было тревожно, он понимал, что произошло, но не мог в это поверить.

Леся точно чувала это его смятение.

«Нет, не может быть, – будто думал он. – Она гостья, таких много было, откуда ж это... Не может быть».

А потом бросал на Лесю быстрый взгляд из-под пушистых ресниц.

«Обычная. Совсем обычная. Но ветер же! – металось в его голове. – Дурное время... Был бы Батюшка...»

И снова горький поток сожаления и тоски по кому-то, ушедшему в незримую даль.

Только добравшись до комнаты, в которую вела та самая обитая мехом запертая дверь, Леся поняла, что не гадала, о чем же думает Олег. Нет, она точно знала, слышала даже, какие мысли лихорадочно вспыхивали в его голове. А может, ей это только казалось.

Лежка помог ей забраться на высокую лавку у окна, не глядя кивнул и повернулся к Аксиные. Та смерила его взглядом и проговорила, поджав сухие губы:

– Можешь идти. Скоро Демьян вернется. К ужину должен быть хлеб. Свежий хлеб. Понял меня?

Олег кивнул еще раз и поспешил выйти из комнаты. А Леся осталась один на один с хищной птицей.

Аксиныя долго звенела склянками, наконец отыскала нужную, поставила ее на край стола, постояла немного, раздумывая, и пошла к двери. Уже на пороге она обернулась и оглядела застывшую Лесю.

– Тронешь что-нибудь – в болоте сгною.

В ее голосе было столько презрения, что перспектива оказаться где-нибудь, пусть даже в болоте, только не в этой комнатухе, пропахшей странными ароматами сушеной травы, казалась не такой уж и плохой. Но Леся осталась сидеть на лавке, рассматривая деревянные, от пола до потолка полки. Кроме них, в комнате толком и не было ничего. Массивный стол с придвинутым к нему табуретом, залитый воском подсвечник да лавка, на которой сидела Леся. Все из дерева, потемневшего от времени и сырости.

Но обдумать это как следует она не успела. Аксиныя уже вернулась, прикрыв за собой тяжелую дверь. В руках она несла исходящий паром таз.

– Покажи, – сухо приказала она, подхватила со стола пузырек и присела на другой конец лавки. – Рану свою.

Леся нехотя задрала подол, опустила глаза и подавилась криком. Царапина стала багровой. Воспаленные края вздыбились, засохшая корка налилась чернотой гниения. Серая пыль, сгустки крови и мертвой ткани. Нога должна была невыносимо болеть, но Леся чувствовала лишь далекое эхо этой боли.

Она испуганно поглядела на Аксиныю – суровое лицо ее осталось бесстрастным. Морщинистые руки опустились в таз, выливая в него содержимое пузырька. Вода стала чуть зеленоватой, запахла сухой соломой. Когда горячая ткань опустилась на бедро, корка, покрывающая

рану, лопнула. Леся почувствовала, как течет по коже что-то холодное и склизкое. В комнате еще сильнее запахло сыростью. Леся безвольно закрыла глаза и откинулась на стену.

Время тянулось бесконечно долго. Но все в этом мире имеет начало и конец. Даже самое страшное заканчивается когда-то. Плохо другое – порой дожить до финала не удастся, и тогда смерть и становится им – концом всех бед. Единственным избавлением от них. Но не в этот раз.

Жар ткани и тяжелый запах горячего пара отхлынули. Леся, почти утонувшая в водах боли, открыла глаза. Акси́нья сидела перед ней, сверля ее взглядом. Лесные озера шли рябью необъяснимой злобы.

– Ты принесла ко мне в дом эту мерзость! – прошипела она. – Притащила на мой порог подарок от болота, мерзавка! Гниль!

Леся выпрямила спину, стараясь казаться старше и увереннее.

– Я не понимаю, о чем вы говорите, – начала она. – В лесу со мной случилась беда. Я очень благодарна, что вы мне помогли. Но теперь я хорошо себя чувствую... И мне бы нужно... уйти.

Леся говорила это на одном дыхании, глядя чуть выше худого плеча Акси́нии, потому не заметила, как дернулись в злой усмешке тонкие губы.

– Беда с тобой случилась, так? В лесу... – Она подтолкнула к Лесе таз с водой. – Это ты права, беда с тобой и правда приключилась. А вот уйти, говоришь? Ну, попробуй, девка, давай. Только погляди вначале на гниль болотную, что в себе таскаешь...

Олеся с трудом сглотнула, мгновенно пересохшее горло стало шершавым, как наждак. Ей понадобились все силы, чтобы совладать с обмершим телом, но Акси́нья ждала. Леся протянула руку, наклонила край таза и заглянула внутрь.

Вместо зеленоватой воды деревянная кадушка была заполнена маслянистой, топкой жижей. Она блестела на солнце, лениво плескаясь в такт трясущимся пальцам, схватившимся за край. Леся медленно перевела взгляд на ногу: края раны стали белее, черноты в глубине почти не осталось. Но грязная тряпка, лежащая рядом, и гниlostные разводы на коже не оставляли места сомнениям: болотная жижа натекла именно из нее, Лесиной, раны.

Пусть этого и не могло быть, как не могло наяву быть и ссадины, принесенной из глубокого сна. Но это было.

Демьян

Демьян был волком. Он чувствовал, какой звериной силой пружинят его лапы, как легко вздымается поджарый бок, стоит чуткому носу втянуть плотный лесной воздух. Открывать глаза нужды не было: уши ловили каждый шорох в траве, каждый далекий отзвук. Вот между веточек сухолома пробежала мышь, пискнула, замерла, испугалась собственной тени и припустила что было мышиных сил. Вот в чаще ухнула сова, покрутила круглой головой, нахохлилась и снова уснула. До ночи еще было время. Пусть себе бежит маленькая мышка – как только солнце скроется за кронами сосен, начнется иное время. Время охоты. Время смерти и жизни как двух начал неделимого целого.

Все это Демьян слышал, чуял и понимал, не прикладывая особых усилий. Он сам был дитя леса. Кровное, приросшее к телу родича. Мгновение – и вскочит на лапы, встряхнется и побежит, куда глядят глаза и ведет чутье. А пока можно еще полежать, послушать, чем живет чаща, о чем судачат суетливые пичужки, как скрипит, роняя тонкие иголки, старая сосна. И сама земля, укрытая палой листвой, мхом, травой и сухими ветками, мерно дышит с Демьяном в такт. Вдох – всколыхнулись осины. Выдох – пробежал легкий ветерок. Беспокойный покой, шумливая тишина. Лес живой, а значит, нечего тревожиться.

Демьян потянул носом, устраиваясь во мху. Вместо спокойного лесного духа в горло влилась затхлая вонь болот.

Еще далекая, но приближающаяся. Настигающая живое мертвецкой жижей. Дема распахнул глаза.

Первым, что он увидел, была чуть смугловатая человеческая кожа. Она обтягивала человеческие кости и скрывала под собой абсолютно человеческое мясо. Слабые жилы людского рода. Дар, обернувшийся проклятием. Демьян даже зарычал от досады, но из человеческого рта вырвалось жалкое подобие того рыка – волчьего, могучего, громогласного, – который так восхищал, так пугал его с детских лет.

Для зверей Демьян зверем не был. Как не был человеком для людей. Чужой в любом стане. Подбитая утка, гнилой помет. Пальцы сами собой сжались в кулаки. Да только что были эти руки – сильные по людским меркам, бесполезные в битве со зверем?

– Жалкий хорек... – простонал Дема, но заставил себя замолчать.

Лес кругом притих. Демьян огляделся и понял, что снова ошибся. Он не был волком так же, как и лес кругом не был чащей. Самый край – редкий, побитый тяжелой жизнью на перепутье двух миров, – он казался жалким подобием могучего и непроходимого собрата, который начинался дальше. Как солдат заброшенного гарнизона, перелесочек еще держал лицо, но под ногами Демьяна жалобно хлюпала сырая земля, готовая в любой момент обернуться жижей.

По вине лесного Хозяина болото пришло в эти края. По его, Демьяна, вине.

Но как бы сильно ни пахло здесь гнилью, дух, который уловил Дема сквозь сон, был куда сильнее. Что-то двигалось по кромке леса, не переступая границу, пока еще не принадлежащего ему. Что-то сильное, ловкое, не-жи-во-е.

Демьян ощерился. Если бы у него был мех, то он тут же поднялся бы на загривке. Но меха не было, как и острых клыков, и сильных когтей. Были лишь злоба и страх. Рука рванулась к поясу и нащупала короткий кинжал.

– Это лезвие Батюшке твоему сам лес подарил, – шептала тетка Глаша, прижимая маленького Дему к теплomu боку. – Вот вырастешь, тебе он перейдет.

– А когда? – Спрашивать ее было не страшно, и перебивать – не боязно, и утыкаться лохматой головой в мягкую грудь, вдыхая сонный, сытый запах дома.

– Тш-ш-ш... – Глаша делала большие испуганные глаза, но смешинки сверкали в них, как светлячки в сумерках. – Когда рак на горе свистнет.

Свистнул ли тот рак, но кинжал Демьяну вручила хмурая Аксинья и недели не прошло как. Это было уже после ссоры их гадкой и кашля, насланного старой ведьмой. Уходя из дома, Дема протер лезвие, повертел в ладони рукоять, привыкая к тяжести, и только плечами пожал. Нож как нож. Увесистый, потертый, ладно лежащий в руке. Как мог лес подарить его Батюшке, осталось неизвестным. Как и многое другое, канувшее в небытие вместе с рассудком Хозяина. Кто дознается? То ли лиса принесла его человеку в пасти, то ли заяц в старом пне нашел, то ли сам Батюшка отрыл во мху да выдал остальным за великий знак.

Но теперь Демьян сжимал в побелевших пальцах рукоять кинжала и чувствовал спокойную уверенность: он не один. Этот редкий лесок – на его стороне, старое лезвие – тоже. Трое против болотного выродка – так ли страшно? Так ли безнадежно?

Когда Дема различил первые шаги, он был готов к встрече. Кто-то шел прямо на него, скрываясь за поваленными деревьями. Жижа чавкала под ногами. Мысль, что чужак, так отвратительно воняющий болотом, имеет человечесьи ноги, скрутила желудок.

Демьян фыркнул, размял шею и плечи, как зверь перед прыжком, чуть согнул в коленях расставленные ноги, снова жалея, что так и не научился обращаться волком. Выродок был все ближе, теперь Дема морщился от духа гнилья, разливающегося кругом.

– Лес, я твой Батюшка, защити да укрой. Да помоги. Да силой поделись, – сами собой зашептали губы.

Никто не учил Демьяна наговорам – слишком рано убежал он из дома, слишком отчаянно бился с матерью, слишком непримиримо ненавидел отца. Но память крови оказалась сильнее.

«Лес укроет тебя, дитя», – говорил Батюшка, прикладывая сильную морщинистую ладонь к его лбу, но Демьян не верил.

А теперь, стоя на жухлой полянке у самого края перелесочка и сжимая в ладони отцовский кинжал, он чувствовал, как через землю тянется к нему лесная сила. Как пытается укрыть его каждая веточка окрестных деревьев. Как живет в нем род, а он, Демьян, принадлежит роду.

– Лес, помоги, одолей со мною врага, победи гниль да умертвие, – шептал Дема, бешено озираясь по сторонам.

Выродок был совсем близко, что-то белое мелькнуло между веток, ветер пахнул в лицо болотным смрадом.

– Лес, да будет покой в тебе, а сила во мне. Я твой Хозяин, не оставь меня на битве... – успел проговорить Дема и бросился вперед.

В два звериных прыжка он оказался у бурелома, откинул ближайшие ветки свободной ладонью, взмахнул рукой с кинжалом. Лезвие скользнуло по белому, послышался вскрик, кто-то отпрянул, затрещал ветками. Демьян прорвался на другую сторону валежника мгновение спустя. Кинжал чуть не выпал из вмиг вспотевшей ладони. Натянутое, словно тетива, тело, готовое к бою, обмякло. Он упал бы, но схватился за тонкий ствол хилой осинки.

Огромные серые глаза испуганной оленихи смотрели на него с любимого лица. Демьян знал каждую черточку, каждую морщинку на нем. Он покрывал неумелыми поцелуями этот высокий лоб и скулы, и щеки с округлой родинкой на правой. Он знал, как счастливо замирает сердце, когда эти пушистые ресницы щекочут кожу, какими нежными бывают на рассвете прикрытые веки, как сладко умеют целовать эти губы, какими острыми кажутся жемчужные зубки, если хватают тебя за мочку. И шепот он помнил – хриплый, сорванный: «Волчонок мой, зверенок...».

Все это Демьян помнил. Со всем попрощался, когда нес Поляшу через лес.

Но теперь она стояла на кромке. В грязных обносках, оставшихся от белого савана, в который Дема собственными руками завернул ее гибкое тело, обтирая от крови, скуля, как побитая шавка. Смотрела серыми глазами, тянулась белой рученькой.

– Уходи, – прорычал Демьян, из последних сил стараясь не закричать. – Пошла прочь, гниль. Морок болотный. Не верю. Прочь.

Легкий шажочек ее босых ног разнесся хлопаньем жижи. Еще один взмах руки, губы искривились, между бровями легла морщинка.

«Сейчас захрипит, – понял Дема. – Завоет, как лютая...»

И сжался, готовясь к прыжку. Рубануть по мороку, прогнать его, не позволить испачкать память о Поле болотной гнилью.

– Дема, это ты? – тихо спросила она, делая еще один шаг. – Демочка... Какой ты стал...

И заплакала. А нелюдь плакать не может.

Демьян и сам не понял, как успел отцовый кинжал упасть в траву, как сам он рванул вперед через острые ветки и сухую листву. Он уже представил, как все годы, что промелькнули одним неумелым мазком, оказались ошибкой.

Вот она, рядом, его Поляша, теплая, мягкая, родная. Только обними, прижми к груди, заройся лицом в волосы, почувствуй, как бьется в ней ток крови. Только прикоснись к любимому, желанному телу. И Демьян прикоснулся.

На ошупь кожа ее была холодной и скользкой, как у болотной лягушки. Страшнее этого нечему было случиться.

* * *

Демьяну только исполнилось шесть, когда Поля переступила порог их дома. Тоненькая до синевы, с хрупкими плечиками и спутанными волосами, она была совсем непохожа на ту, кем нарек ее Батюшка.

– Ну, знакомьтесь, Пелагея это, жена моя, – сказал он, обтирая руки о поданное Глашей полотенце.

Что понимал тогда в жизни Дема? Что вообще мог разуметь в их странном существовании малыш, прячущийся от строгой матери в темном углу? Но по тому, как охнула тетка Глаша, прижала к щекам ладони, закачала головой, по абсолютно прямой, окостеневшей спине Аксины, по ее сведенным бровям, по хрустко лопнувшей в пальцах плошке, Дема понял, что случилась беда. И принесла ее чужачка, которую за руку привел в их дом отец.

– Ты давай, Поляша, – кашлянув, проговорил Батюшка. – Отдохни с дороги, с семьей своей новой... познакомься... – Но поймал яростный взгляд Аксины, съежился, скрипнул зубами и вышел из комнатки, чуть наклонив голову в дверях.

Волосы у него и тогда уже были седыми, а на лице лежали глубокие устья морщин. На сколько отец был старше третьей своей жены, Дема так и не узнал. На сколько жена эта была старше его самого – помнил крепко. Ровно десять лет и четыре месяца.

В памяти осталось, как застыла она в двух шагах от порога, совсем еще девочка, – в куцем, слишком коротком для этих краев платье, с обгрызенными до мяса ногтями.

– Здравствуй, сестрица, – первой нарушила тишину Глаша, комкая в руках полотенце, расшитое для мужа, которого теперь придется делить на троих.

Полина дернулась, подняла огромные серые глаза.

– Чего уставилась, как корова нетеленная? – Полотенце полетело на пол, в самый сор. – Все мы тут сестрицы... Куда деваться-то? – Глаша постояла, тяжело дыша, потом медленно наклонилась, подхватила упавшее, отряхнула, засунула в карман передника. – Коль он привел, коль ты пришла, так заходи. Поди умойся, серая вся с дороги... Воду во дворе найдешь.

Дема точно помнил, что от слов этих Полина тут же обмякла, тонкая рука ее, которой она подхватила полотенце, протянутое теткой, чуть заметно дрожала.

– Спасибо...

Демьян еле уловил ее шепот и шаги, но звук разбивающейся на осколки плошки, что швырнула в косяк двери Аксиныя ей вслед, услышали, кажется, и в лесу.

Однако сколько бы Матушка ни лютовала, решенное Хозяином оставалось решенным. Полину поселили в дальней комнате, соседней со спальней, где обитали Демьян с Феклой. Так они и подружились. И месяца не прошло. Да и как можно дичиться той, что робко улыбается днем, но тоскливо всхлипывает по ночам? Тонкие стены и стали залогом их дружбы.

– Опять ревет, – нахмутив лоб, шептала Фекла и прижималась ухом к стене. – Как есть ревет.

Ей тогда и пяти не было. Тонкие косички, вечно мокрый нос и огромное сердце, умеющее любить даже самую маленькую букашку. Даже незнакомицу, принесшую в дом беду.

– Плакса, – дергал тощим плечом Демьян, делая вид, что всхлипывания за стеной его ни капельки не волнуют.

Но и он томился от жалости, ловя потерянный взгляд новой тетки за общим столом. Ее как молодую жену посадили по правую руку от Батюшки. Она теперь должна была подавать ему хлеб, шепча наговоры за здоровье да силу, только сбивалась уже на первом слове, роняла крошки на пол, тянулась их поднять, словом, нарушала сразу все их негласные, незыблемые правила. Глаша хмурилась, но молчала, Аксиныя и вовсе, кажется, разучилась говорить. А Батюшка словно и не замечал ошибок, только смотрел на Полину из-под бровей, а глаза его предательски теплели.

Демьяну и смешно, и тревожно было следить за взрослыми. Их мир для него казался куда непонятнее мира лесного. Но своим острым, детским чутьем он понимал, как одинока и слаба Поля, как враждебна к ней старшая Матушка, как мечется между ними тетка Глаша. И как сильно виноват во всем этом отец.

Первым он и сдался. Собрал мешок и ушел в лес, махнув рукой на женщин, которых назвал своими, да не знал теперь, что с ними делать. Провожая его на крыльце, Полина заплакала уже не таясь. Снег сыпал и сыпал, заматавая следы Хозяина, трусливо поджавшего хвост. И воцарилась бесконечная ночь.

Теперь Демьян сравнил бы ее с болотом – рыхлая жижа, затхлый дух, болезненные, гнилые пустоты тишины. Гнев Аксиныи сверкал грозowymi раскатами, никто не решался оставаться с ней наедине, волосы вставали дыбом от каждого взгляда, который она тяжело бросала на любого, кто смел обратиться к ней. Полина плакала по ночам все безутешнее, становилась все прозрачнее и бледнее. Дичилась и вздрагивала, как дикий зверек. Даже тетка Глаша забросила свою неумную опеку над всем, обитающим в доме, и все чаще скрывалась в своем углу – штопала что-то, покашливая.

– Пойдем, – в одну из самых темных ночей решила за всех Фекла, соскочила с высокой кровати и выскользнула из спальни.

Ее голые пятки зачастили по деревянную полу. В другое время Глаша схватила бы проказницу поперек живота, защекотала, запричитала бы, унося обратно в тепло и уют. Но никому теперь не было дела до детского сна. Демьяну такая голодная вольница успела надоесть. Зимой из дома не выйти – кругом снег, кусачий мороз да мерзлые тени шастают между деревьев. А тут еще и печка холодная стоит. Хлеб и тот пекли через раз.

Дом пора было спасать. И кому, как не единственному мужчине, оставшемуся под его крышей? Потому Дема одернул рубаху, приосанился и пошел по темному коридору на звонкий голос сестры. Пол скрипел, стены пахли деревом и ночной тишиной. Кто-то легкий ходил по крыше, точно шатун из леса забрел на запах дыма: пока не согреется о людское дыхание – не уйдет. Будет вздыхать, скрипеть соломой, шуршать по углам. Дема знал, шатун его не тронет, но идти в темноте было боязно.

Но коль девка не убоялась, ему ли бежать со всех ног обратно?

Когда он добрался до комнатки, отданной новой жене, Фекла уже с ногами забралась под Полинино одеяло, гладила ее по спутанным волосам маленькой ладошкой и шептала что-то на своем, детском еще, языке. В темноте мало что можно было разглядеть, только белело

худенькое плечико, выбившееся из-под ворота рубахи. Раньше Демьян если и хотел защитить живое от зла, так щенка слепого или птенчика, выпавшего из гнезда. В ту ночь все изменилось. Это плечо было таким острым, таким беззащитным, что Дема впервые почувствовал к кому-то щемящую нежность.

Он осторожно подошел поближе, натянул на голое плечо молодой своей тетки одеяло и тихонечко присел рядом. Та искоса глянула на него, заплаканные глаза стали похожи на щелочки, и вдруг улыбнулась – робко, испуганно, но улыбнулась.

Эту улыбку Демьян запомнил навсегда. С нее-то все и началось.

Они долго шептались, так и уснули вповалку на узкой кровати, а тусклые лучи зимнего солнца застали их уже совсем иными, связанными новой дружбой. Еще до того, как, охая, поднялась тетка Глаша, Дема подхватил в одну руку влажную ладонь сестры, в другую – прохладные пальцы тетки – и вывел их во двор. С визгом они носились по сугробам, расчищая дорожку, теряя валенки и спешно натянутые бабьи шали.

От морозного, свежего утра Поляша раскраснелась, и румянец этот мигом превратил ее в красавицу. Теперь-то Дема понимал, что сама она была еще ребенком, но тогда он глазам не мог поверить: тетка, выбранная самим Батюшкой в жены, с визгом носилась по двору, лепила крепенькие снежки, похожие на ранние яблочки, и швыряла их, звонко хохоча.

Успокоились они, когда на крыльцо вышла Глаша. Услышав скрип ступеней, Полина окаменела, выронила из рук снежный мячик, румянец мигом стал похож на лихорадочный жар.

– Извините... – пробормотала она, пробуя пригладить волосы. – Мы... мы вас разбудили?

Глаша окинула ее взглядом, делано нахмурилась, но Феклу было не обмануть. Девочка раскинула руки, ухватилась за новую тетку, потащила ее за собой и подвела к матери, стоящей на последней ступени.

– Вот, – деловито сказала девочка. – Поля это. Наша она теперь.

– Наша.

Демьян не мог вспомнить, какими в тот миг были лица двух этих женщин – зрелой и совсем юной, но с того утра болотная хмарь в доме принялась съеживаться и пропадать. Глаша напекла пирогов, пышных и румяных. Капусту для них рубила Поля, почти перестав стесняться и вздрагивать. Фекла еще вертелась под ногами у взрослых, а Демьяну почти сразу наскучила бабская болтовня. Он почувствовал: дело сделано, а мир восстановлен. И детским умением перестал об этом думать.

Полина просто шагнула в его жизнь, чтобы навеки там остаться, занимая все больше места, проникая все глубже в самую суть каждой мелочи, наполнявшей дни и ночи. Она ходила с Демой в лес, наблюдая вполглаза, как учится он ставить силки, а сама собирала ягоды, легонечко напевая. Она расчесывала Демины непослушные волосы и плела косички, заставляя Феклу заливаться смехом. Она возилась в снегу, она кормила белок и птиц, она рассказывала сказки, совсем не похожие на те, что слышали они от тетки Глаши. То были настоящие сказки. И Дема любил их за это еще сильнее. И ее, Полину, он тоже любил. Как еще одну сестру как еще одну тетку.

По его разумению, все было ладно, так, как должно. Как было понять ему, ребенку, почему в одни ночи дверь в соседнюю спальню остается открытой, а в другие ее изнутри запирает сам Батюшка? Почему из-за стены в такие ночи вновь раздаются всхлипы, а то и стоны? Почему наутро Поляша не хочет идти в лес сушить травы и смотреть волков? И почему Акси-нья нет-нет да подходит к новой своей сестрице, проводит ладонью по ее плоскому девичьему животу да хмыкает зло?

Ничего из этого Дема тогда не понимал. А когда понял, то в жизни его появилась новая сила, kloкочущая, жаждущая найти выход. Сила ненависти к отцу.

* * *

– Демочка... – Шепот был знаком до последней хриплой нотки. Поля быстро простужалась, стоило промочить ноги. – Как ты вырос, зверенок мой...

Давно уже Демьян не был так близок к потере рассудка. Кажется, только теперь, стоя рядом с той, что умерла столько лет назад, он понял наконец, почему так спешно, так бездумно сбежал с этой земли. Что-то внутри него всегда знало: чертовщина, творящаяся тут, так просто не отстанет. Мертвые, не преданные покою, а отданные лесу, не могут просто взять и почить в небытие. Ну конечно же, они возвращаются – мороком, злым духом. И приходят мстить тем, кто виновен в их гибели.

– Скучал, ну, скажи, скучал? – заискивающе повторяла Поля, привставая на носочках, чтобы заглянуть ему в глаза.

А он все отворачивался, пытался вырваться из ее мертвых объятий.

– Отпусти, – наконец сумел просипеть он.

Холодные руки тут же ослабли, Поля отстранилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.